

СЕРГЕЙ ЧЕКМАРЕВ

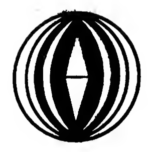
# БЫЛА ВЕСНА...

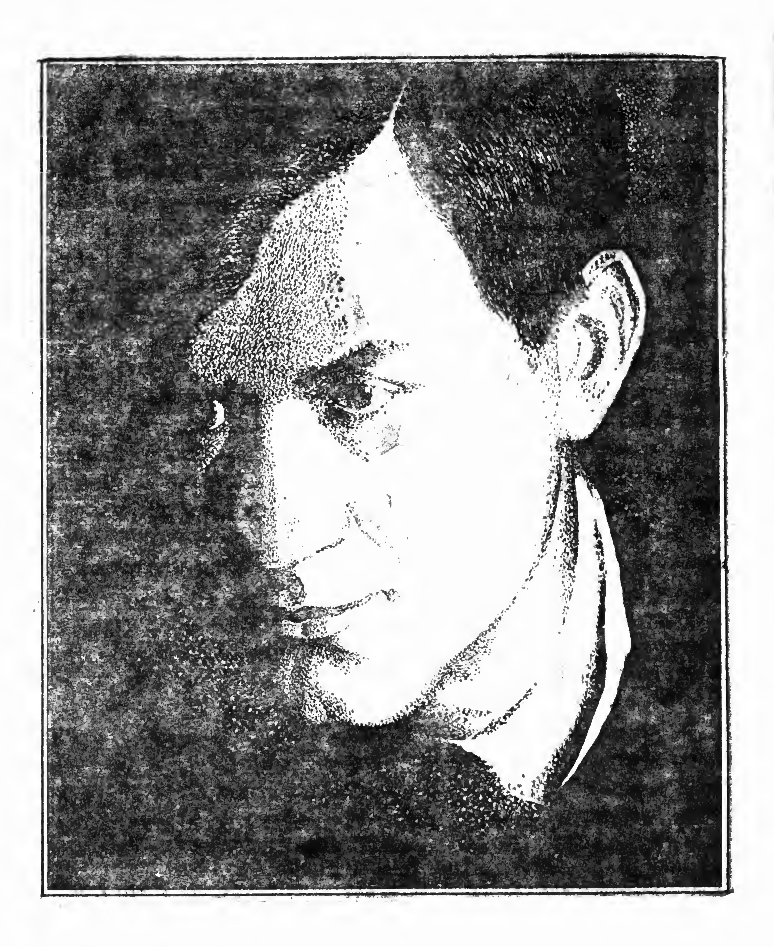
Издательство «Молодая гвардия» выпускает серию «Компас» для тех, кто вступает в жизнь.

Книги серии вы узнаете по графическому знаку на последней странице обложки.

Ваши отзывы и пожелания мы постараемся учесть в дальнейших выпусках.

Наш адрес: 103030, Москва, К-30, Сущевская ул., 21, издательство «Молодая гвардия», серия «Компас».





# СЕРГЕЙ ЧЕКМАРЕВ

# БЫЛА ВЕСНА...

**СТИХИ, ПИСЬМА, ДНЕВНИКИ**

*Литературная композиция, подготовка текста,
предисловие, послесловие и комментарии
С. ИЛЬИЧЕВОЙ*

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1978

Р2
Ч-37

**Чекмарев С. И.**

Ч-37 Была весна...: Стихи, письма, дневники/Лит. композиция, подгот. текста, предисл, послесл. и коммент. С. Ильичевой. — Изд. доп. — М.: Мол. гвардия, 1978. — 272 с., ил. — (Компас).

В книгу входят стихи, дневники, письма С. Чекмарева, трагически погибшего в 1933 году. Они проникнуты душевной чистотой и благородством, искренней любовью к людям, они волнуют читателя, как и сама жизнь С. Чекмарева, полная мужества и подлинной поэзии. В 1976 году Сергею Чекмареву присвоено звание лауреата премии Ленинского комсомола.

Р2

Ч $\frac{70803-120}{078(02)-78}$ 222—78

© Издательство «Молодая гвардия», 1978 г. Предисловие, послесловие, комментарии.

Где-то в далеких просторах мироздания умирают звезды, но их живой и яркий свет еще долго посылает нам свои прямые и сильные лучи.

Есть люди, похожие на звезды. Человека уже нет, но его горевшее при жизни сердце продолжает излучать животворное тепло, свой чистый немеркнущий свет.

## В БУДУЩЕЕ УСТРЕМЛЕННЫЙ

*По-разному складываются судьбы людей. Разные судьбы бывают и у книг.*

*Эта книга имеет необычную историю. Автор никогда не видел ее, не держал в руках, не испытал той особенной радости, которую приносит встреча с читателями. Книга впервые вышла в свет лишь через 23 года после его смерти.*

*...Начало 30-х годов. Горная Башкирия — сказочная по красоте страна: первозданные дремучие, непроходимые леса, горы, овраги, заросшие причудливой формы деревьями, буйным кустарником, диковинными цветами и травами. Множество рек, берущих свое начало в горах, летом они тихие, спокойные, мелководные, а во время весеннего разлива — стремительные и бурные. В одной такой реке в мае 1933 года нашли безжизненное тело старшего зоотехника совхоза «Иняк» комсомольца Сергея Чекмарева.*

*На окраине башкирского села, где юноша работал последние месяцы своей жизни, вырос небольшой холмик. А в многотиражке Московского мясо-молочного*

*института мелькнуло короткое сообщение: «Дирекция Инякского совхоза с глубокой скорбью извещает о внезапной смерти бывшего студента, ныне красного специалиста Чекмарева Сергея Ивановича, при исполнении служебных обязанностей».*

*Что произошло? Преднамеренное убийство или роковая случайность? Установить причину смерти не удалось. Но и в том, и в другом случае это была смерть солдата на боевом посту.*

*В те трудные и сложные годы коллективизации сельского хозяйства немало погибло коммунистов и комсомольцев от рук врага. И смерть «красного специалиста» не представлялась фактом необычным, из ряда вон выходящим.*

*Прошли годы. Пять, десять, пятнадцать, двадцать. Время ослабляет остроту потери, притупляет память. И образ юноши был не то что забыт, но стал как-то стираться, тускнеть в памяти тех, кто знал его, кто был причастен к его судьбе. Может быть, эта короткая жизнь так и была бы забыта, так и ушла бы в неизвестность. Но случилось другое.*

*Летом 1955 года мне в руки попала необычная рукопись: ученические тетради, записные книжки, детские рукописные журналы, листы пергаментной оберточной бумаги с неясными записями, почтовые открытки, письма различным адресатам. Письма и в прозе и в стихах, часто не законченные, оборванные на полуслове. Многие записи сделаны простым карандашом — полустерты, неразборчивы. Страницы, написанные чернилами, размыты, строки слились. С фотографии, окаймленной траурной рамкой, на меня смотрели серьезные внимательные глаза юноши с выразительным лицом. Из письма, приложенного к рукописи, я узнала, что все это написано молодым человеком, изображенным на портрете, что сам он погиб в Башкирии много лет назад.*

*Не заинтересоваться рукописью было нельзя. Читать записи, сделанные незнакомым неразборчивым почерком, было очень трудно, однако бросить чтение я не могла. Никак не организованные, не связанные между собой ни композиционно, ни тематически, эти записи привлекли меня правдивыми наблюдениями, точностью деталей, предельной искренностью. Пожелтевшие от времени страницы как бы излучали душевную ясность, благородство помыслов, радостное восприятие непростой и нелегкой жизни.*

*Нет, это не придумано, не заимствовано. Сама жизнь воплотилась в эти интимные признания, в эти содержательные раздумья о своем месте в жизни, о ее смысле и целях, о счастье, о любви. Но ведь это личная жизнь одного человека, к тому же никому не известного. Почему же она так волнует? Почему проникает в сердце каждая строка?*

*Судя по признанию самого юноши, все это писалось не для посторонних, а только «для себя» или для тех, кому это было адресовано. Где-то в тайниках души он таил надежду встретиться когда-нибудь с читателем. Но это могло бы произойти, как он мечтал, лишь во второй половине его жизни, когда он будет писать для других.*

*В одной из тетрадей я нашла такие строки: «Ау, читатель! Где ты? Откликнись! Однако что это я делаю? Ведь здесь читателя быть не может. Никому тетради эти я не покажу... Вначале я буду жить, любить, а потом уже писать о жизни и любви. Первую половину жизни буду писать для себя, вторую — для всех».*

*Скромный и взыскательный к себе, ко всему, что он делал, Сергей Чекмарев никогда не решился бы предлагать вниманию читателей свои интимные записи, свои письма, глубоко трогательную историю своей первой нелегкой любви к девушке.*

*Он не прожил и первой половины своей жизни, но*

*успел, однако, оставить добрый след, который не стерло время.*

*Прекрасна жизнь человека, в которой нашли отзвук поэзия и романтика целого поколения. А такой и была жизнь Сергея Чекмарева. Его юность типична для молодого советского человека начала тридцатых годов. Это поколение, воспитанное на новых моральных принципах, отличалось высокой идейностью, гражданской активностью, душевной готовностью к подвигу. Появившееся на свет слишком поздно, чтобы принять участие в революции, в гражданской войне, оно заняло достойное место в передовых рядах борцов трудового фронта, в борьбе за социалистическое преобразование страны.*

*Это поколение героев первых пятилеток строило Комсомольск-на-Амуре, индустриальные гиганты в Сибири и на Урале, принимало активное участие в социалистическом переустройстве деревни. Оно заложило фундамент тех величественных свершений, которыми отмечены наши дни. От лица своих сверстников Сергей Чекмарев протягивает руку нашим современникам — строителям гигантских электростанций Сибири, БАМа, легендарным первооткрывателям космоса. Со всеми приметами того времени тесно переплетается индивидуальная судьба молодого человека с трагической развязкой, со всем неповторимым своеобразием, свойственным одаренной личности.*

*Кроме объективной оценки рукописей Чекмарева, еще одно обстоятельство заставило меня заинтересоваться незаурядной судьбой. Юность его почти целиком совпала с моей. И многие приметы тех лет, отмеченные в его письмах и стихах, были хорошо мне известны не из литературных источников, не из чужих слов — они были вехами моей собственной биографии.*

*С глубоким волнением я перелистывала эти ломкие, пожелтевшие страницы, и перед моими глазами оживали подлинные события и факты, светлые и радостные, пол-*

*ные драматизма и горечи, остроту которых притупило время. Ведь я могла знать Сергея при его жизни! Мы могли оказаться с ним в одной агитбригаде, ездившей по подмосковным селам, или на строительстве аэродрома, в котором участвовал весь московский комсомол. Могла сидеть с ним рядом в аудитории Политехнического музея на вечере поэзии и слушать Маяковского, его стихи и меткие ответы на записки. Было много других возможностей, много других мест, где мы могли с ним встретиться, и ничего необычного бы в этом не было. Но наша встреча оказалась особенной, непохожей ни на какую другую. Встреча состоялась с его мыслями и чувствами, с его надеждами и мечтами, с радостями и печалями. И этот незнакомый мне в прошлом человек стал для меня самым близким и дорогим другом на долгие годы. Более того, за двадцать с лишним лет творческого погружения в его рукописи у меня возникло ощущение, что я всегда его знала, слышала его голос, интонации, видела его улыбку, то веселую и озорную, то ироническую и грустную.*

* * *

*Все эти объективные и личные мотивы привели меня к твердому решению: такая жизнь не может оставаться в неизвестности, уйти в небытие. Надо во что бы то ни стало сделать ее достоянием наших современников. Это решение укреплялось с каждой его рукописью, найденной в дальнейшем, с каждой новой встречей с его товарищами по школе, институту, с теми, кто оставил какой-нибудь след в его душевных заметах. Я побывала всюду, где он жил и работал, ездила по его маршрутам, беседовала со всеми, кто сохранил хоть малые крупицы воспоминаний о нем, разыскивала исчезнувшие рукописи.*

*В результате всей этой работы удалось создать це-*

*лостное, последовательное повествование, которое из разрозненных интимных записей «для себя» стало книгой — книгой «для всех».*

*С каждым новым изданием книга обогащалась новыми материалами, которые удалось найти и обработать и которые все шире и разностороннее раскрывают его незаурядную личность.*

*Личная биография Чекмарева так тесно переплелась с тем, что он писал, что отделить одно от другого нельзя. Писал он не только «для себя», но и о себе, о своих делах, о своих мыслях, о том, что его радовало, тревожило, волновало. Это именно тот случай, когда автор является одновременно и главным героем.*

*К сожалению, о многом важном и значительном Сергей Чекмарев не мог или не успел написать в своих письмах и тетрадях. В этом рассказе я попытаюсь восполнить некоторые пробелы в его биографии, чтобы читатели книги получили более полное представление об одном из ярких сыновей нашего времени.*

* * *

*...После шумных и многолюдных центральных улиц Москвы ее переулки кажутся тихими и пустынными. В один из таких переулков в конце 1908 года въехал свадебный кортеж. Молодые супруги поднялись на четвертый этаж многоквартирного, «доходного», дома и обосновались здесь на долгие годы. Сохранилась фотография тех далеких лет, которая воскрешает перед нами юную супружескую чету в день свадьбы. Высокая тоненькая девушка в белом подвенечном платье с длинным, стелющимся по ковру шлейфом. Что-то неуловимо трогательное и своеобразное в мечтательных, слегка прищуренных глазах, в беспомощно откинутой назад руке, во всем облике этой совсем еще юной супруги. Ее муж выглядит не старше, но менее романтично. Длин-*

*нополый сюртук придает ему вид преуспевающего молодого купчика.*

*На двери квартиры, в которой поселилась молодая пара, появилась медная табличка: «Иван Федорович Чекмарев — зубной техник».*

*Через год в семье Чекмаревых родился первенец — сын Сережа. Его детство не было отмечено ни особыми событиями, ни своеобразием первоначальных интересов. Вспоминая о ранних годах своего сына, Анна Ивановна Чекмарева не могла отметить каких-либо исключительных черт «вундеркинда», которые отличали бы Сережу от его сверстников. Либо они не проявлялись, либо мать их не замечала, занятая хлопотами о многочисленном семействе. Ведь вслед за Сережей появились и другие дети, и для пристального наблюдения за каждым из них уже не было времени. Однако одну особенность Сережи в раннем детстве нельзя было не заметить. В пять лет и почти самостоятельно научившись читать, он сразу же охладел к игрушкам и с книгой уже не расставался. И хотя в дальнейшем пришли и другие увлечения: шахматы, фотографирование, «издание» домашних и школьных рукописных журналов — книга осталась для него верным другом и соратником.*

*Сергей очень рано осознал свои обязанности старшего ребенка в семье. Никто эти обязанности на него не возлагал — они были взяты добровольно. И ко всему тому, что он любил, что становилось содержанием его жизни, он старался приобщить и младших Чекмаревых, и своих школьных товарищей. Без скучных назиданий, никогда не подчеркивая своего умственного превосходства, своего старшинства, Сергей прививал своим сестрам и брату полезные навыки, увлекал интересными занятиями, содержательными играми. Члены семьи, в том числе и Иван Федорович, были не только читателями, но и «авторским активом» домашних рукописных журналов. Сохранилось стихотворение, написанное самым*

*старшим Чекмаревым, в котором он желает своим младшим детям унаследовать его профессию, а старшим — получить высшее образование и стать зубными врачами. (Забегая вперед, должна отметить, что никто из детей не выполнил пожеланий отца.)*

*Даже те немногие страницы рукописных журналов, которые удалось сохранить, свидетельствуют о разносторонности интересов их редактора и основного автора, о пытливости его ума и страстной увлеченности литературным творчеством. Сергей пробовал свои силы в самых различных жанрах — в поэзии, прозе, литературной критике. Трудно сказать, какой бы из этих жанров он предпочел в дальнейшем. Но одно для меня совершенно очевидно — он был бы блистательным журналистом. Если для его сверстников и младших сестер участие в рукописных журналах было игрой, к которой они со временем охладели, то для него — это серьезное дело, которому он отдается со свойственной ему увлеченностью и страстью. Через годы своей жизни пронес Сергей эту увлеченность. Она скрашивала его самые мрачные часы, она вызвала к жизни лучшие стихотворения.*

*Как и многие его сверстники, Сергей очень рано почувствовал потребность внести свой вклад «в дело рабочего класса». Отсюда естественное желание быть там, «где наиболее трудно», «где ты больше всего нужен».*

*В его понимание человеческого счастья органически входило преодоление трудностей, и его высказывания по этому поводу целиком совпадали с действиями. Единство взглядов и поступков, цельность натуры — отличительная черта Чекмарева. Она проявилась и в той последовательности, с которой он искал своего места в жизни.*

*Найти свое место в жизни разносторонне одаренному юноше, каким был Сергей Чекмарев, было и легко и трудно. Он мог бы стать и литератором и математиком — к этому были природные данные и личный инте-*

*рес. Но страна остро нуждалась в специалистах сельского хозяйства — и он поступает в Воронежский сельскохозяйственный институт. «С этого момента, — пишет он своим родителям, — я перебросил свою судьбу, или судьба перебросила меня в Воронеж».*

*При всей разносторонности интересов животноводство было самой отдаленной от его пытливого ума областью. Но вот перед нами воронежские письма Сергея, в которых он описывает знакомство с зоотехническими науками. Какой неудержимой радостью, каким ликованием проникнуты эти письма! Он не просто изучает ботанику, а находится «в объятиях хламидомонады», а листы учебника «цветут» для него как «экзотические растения». «Перед моими глазами проходит сказочная феерия червей с пышными латинскими названиями» — так описывает он свои занятия паразитологией, столь далекой от романтики областью знаний.*

*Находить поэзию и романтику там, где никто другой бы не искал, — тоже одно из свойств этой натуры. Оно проявляется у него в самых будничных и, казалось бы, в самых прозаических обстоятельствах. Романтической приподнятостью отмечены его письма из воронежского села, где он ликвидировал неграмотность, из студенческих военных лагерей, из колхозов Уральской области, где он проводил коллективизацию, из «полудиких мест» Башкирии, куда он уехал работать.*

*Пытливость ума, увлеченность новыми для него науками сочетаются у Чекмарева с искренним желанием быть полезным своей стране. Он готовится стать зоотехником, «чтобы силу ума отдать пятилетке». Вместе с тем он хорошо понимает, что стране нужны не только хорошие специалисты, а люди с головой ученого и «с сердцем большевика».*

*Месяцы напряженного учения в институте — в воронежском, а затем в московском — чрезвычайно важный период в жизни юноши. С особенной силой раскрылись*

*в это время основные качества его характера: прямота, принципиальность, благородство и чистота души, постоянная готовность к подвигу.*

*Когда знакомишься со студенческими годами Сергея Чекмарева, то прежде всего возникает вопрос — как можно было совместить за три с половиной года ученья столько дел, столько творческой работы. Помимо большой академической нагрузки, множество всевозможных общественных обязанностей: от ликвидации неграмотности среди крестьян до организации колхозов. Каждая такая работа отрывала от занятий на несколько месяцев. Наряду с этим комсомольские рейды «легкой кавалерии», короткие, но частые командировки «на силос», «на сеноуборку», выступления на заседаниях научного кружка и, наконец, активное участие в институтской многотиражке. О журналистской деятельности Сергея тепло вспоминает бывший редактор газеты И. Т. Зотов. «Сергей Чекмарев работал безотказно, для него не было заданий ни трудных, ни сложных. Все они выполнялись серьезно, ответственно и в срок. Большую помощь он оказывал нашим малоопытным корреспондентам, не жалея для этого ни времени, ни сил».*

*Месяцы напряженной работы в институте сменяются месяцами студенческой практики в деревне. И так же искренне и заинтересованно, как он учится и работает в городе, он борется за переустройство деревни на социалистический лад.*

*Командировки на колхозное строительство, в наиболее трудные и сложные места, дали Чекмареву политическую закалку. Здесь создавалась новая жизнь, создавалась в условиях больших трудностей, в ожесточенной схватке со старым. Поездки в деревню Чекмарев воспринимал как боевые задания. «Мы солдаты второй большевистской весны» — так называет он бригаду студентов — участников весенней посевной кампании 1931 года.*

*Содержательна и многообразна агитационно-пропагандистская деятельность Чекмарева в Уральской области. Он читает лекции на курсах колхозников-животноводов, руководит комсомольским политкружком, проводит беседы, выпускает стенную и «живую» газеты, организует выступления художественной самодеятельности. Но дело не только в многообразии форм, которые он использует. Для Сергея «провести мероприятие» еще ничего не значит. Главное состоит в том, чтобы сделать это как можно интересней, увлекательней, доходчивей.*

*«Я старался вести занятия проще, живее, душевней», — читаем мы в одном из его писем.*

*«Душевный»! Это слово, не очень популярное у большинства пропагандистов тех лет, пожалуй, лучше всего объяснит, в чем была особенность работы Сергея Чекмарева. Именно в этой постоянной душевной думе о людях, в его человечности, в творческом отношении к любой работе, к любым своим обязанностям ответ, почему так полюбили Сергея его сверстники — уральские комсомольцы, и почему пришелся он так по душе нашим юным современникам.*

*Сергей Чекмарев умел видеть большие перспективы в самом малом и, казалось, незначительном и старался передать это умение своим слушателям.*

*Он говорил и писал:*

*«Теперь главное в воспитании состоит в том, чтобы человек знал и любил свою работу, чтобы он умел хорошо выполнять свою работу, чтобы он перспективы всей нашей гигантской стройки видел за этой работой и чтобы он вместе, в ногу шел со всем нашим многомиллионным коллективом».*

*Беседы с крестьянской молодежью, его советы младшему брату (а ведь самому Сергею было двадцать — двадцать один год!) представляют собой хорошо продуманную систему воспитания вступающего в жизнь молодого человека новой эпохи, нового мировоззрения.*

*Сергей творчески осмыслил завет Ленина — учиться коммунизму. Неоднократно напоминая о важности овладения специальными знаниями в той области, где человек собирается работать, он подчеркивает необходимость политической подготовки. «Политика — самая увлекательная вещь. Без знания ее человек слеп!» И со свойственным ему умением живо и образно излагать свои мысли он развивает эту тему.*

*Талант пропагандиста и воспитателя у Сергея сочетался с талантом комсомольского организатора. Ни значительного комсомольского стажа, ни опыта работы у него не было, когда он приехал на практику в Уральскую область. Его «гоняли» по разным районам и селам и не давали возможности поработать в одном каком-нибудь месте хотя бы месяц, о чем он искренне сожалел. И несмотря на это, юноша сразу сумел увидеть главные недостатки в работе сельской комсомольской организации, и он не только увидел, но и терпеливо, настойчиво учил, как надо их преодолевать.*

*Быть членом Ленинского комсомола для Сергея не только высокая честь, но и высокая обязанность. «Комсомольский билет, — писал он, — это кусочек картона, который люди с веселыми глазами и упрямыми головами берегут, как сокровище, хотя он и не дает им ничего, а только накладывает обязательства быть первыми в труде и борьбе...» И человек, обладающий этим кусочком картона, не может равнодушно относиться к тому, что его окружает. «Недаром же сквозь жилет у тебя, как заря, как пламя, горит комсомольский билет!»*

*На практической работе в деревне проявился не только незаурядный талант агитатора, комсомольского вожака, но и своеобразие его писательского дарования. Юношеская восторженность, с какой он воспринимает все многообразие жизни, и его способность поэтически мыслить помогают ему найти такие слова, такие краски, что перед нами возникают уже не рядовые повсе-*

*дневные явления, а полные поэзии и романтики картины.*

*В молодой Советской Республике создавалась новая культура, новые моральные ценности. Нужно было определить свое отношение к таким «вечным» понятиям, как, например, счастье, любовь, смысл жизни. В горячих спорах рождалась новая идеология. Сергей часто посещал клуб писателей, Политехнический музей, Коммунистическую аудиторию университета, бывшие в то время ареной острейшей литературной борьбы.*

*Сергей не только внимательный свидетель, но и активный участник этой борьбы. Он пишет заметки, рецензии, литературные пародии; в них так истолкованы некоторые вопросы, как они будут истолкованы в печати много лет спустя. Он не повторял чужие мысли — они были его собственными. Когда знакомишься с его «впечатлениями о прочитанном», в которых он пытается отразить несправедливые нападки на Маяковского некоторых литературоведов тех лет, невольно удивляешься современному звучанию его рассуждений и его позиции. В нашей печати нашло объективную оценку все то, что было в свое время несправедливо сказано в адрес Маяковского. Поэтому сейчас доказывать, например, что книга Шенгели «Маяковский во весь рост» была одиозной, нет необходимости. Но ведь Сергей писал об этой книге и ряде других ошибочных высказываний еще тогда, когда они не получили должной оценки в печати.*

*В его письмах, в записных книжках мы находим осмысление актуальных проблем, волновавших молодежь тех лет, очень точно отражающее дух эпохи. А эпоха была захватывающе нова, она многого требовала и многое давала. Она создала новый тип человека, беззаветно преданного великому переустройству мира.*

*В своих письмах читатели часто ставят рядом с именем Павла Корчагина имя Сергея Чекмарева. И это не случайно. Несмотря на различие в судьбах, их многое*

*роднит. Когда знакомишься с размышлениями Чекмарева о назначении человека на земле, невольно вспоминаешь слова Павла Корчагина: «Самое дорогое у человека — это жизнь... и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы... чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества». Островский был на шесть лет старше Сергея, но оба они очень рано прониклись идеями Великой Октябрьской революции, ее целями, ее мечтами.*

*Неудачи, трудности, тяжелые испытания никогда не останавливали, не озлобляли, не омрачали ясности души Сергея Чекмарева. Наоборот, преодоление трудностей только усиливало ощущение жизни. Для него было важно иметь цель, стремиться к ней, «гореть мечтой», ведь мечта — «составная часть жизни». «Тогда человек развертывает свои способности... борется со всеми препятствиями, каждый шаг вперед обдает его волной счастья, каждая неудача стегает, как бич. Человек страдает и радуется, плачет и смеется — человек живет!»*

*И он дает очень стройное и очень убедительное осмысление понятию счастья — понятию вечному и вместе с тем всегда новому. Его полемика с товарищем, который хочет жить только ради личных удовольствий, его высказывание о том, что же такое счастье в понимании современного человека, — прекрасный образец художественной публицистики. Он как бы воссоздает два типа мышления, сталкивает и противопоставляет один другому. И перед читателем возникают картины двух образов жизни — одна бессодержательная и никчемная, но наполненная развлечениями, другая — осмысленная, целеустремленная, но трудная и героическая. Он, конечно, — за вторую, и не только на словах, но и всеми своими поступками.*

*К самому понятию «творчество» он относился по-сво-*

*ему. Творить — значит заинтересованно жить, видеть жизнь во всем многообразии ее красок и впечатлений. И не только видеть, но и ощущать величайшую радость от сознания своего участия в ней на любом участке борьбы за будущее. «Эта борьба сделает мою жизнь наиболее полной и богатой, потому что я испытываю живой интерес к ее целям», — заключает он свою полемику с товарищем. И нет никакого разлада между жизнью и поэзией. Они сосуществуют в неразрывном единстве.*

Мне борьба поможет быть поэтом,
Мне стихи помогут быть борцом.

*Эти лаконичные звучащие как афоризм строки органической деталью входят в его характер, страстный и без рисовки героичный.*

*Как подлинный интернационалист, он интересуется не только тем, что происходит в родной стране, но и событиями за рубежом. В Англии происходила длительная забастовка горняков, и Сергей внимательно следит за мужественной борьбой английского рабочего класса. Глубоко взволнованный судебным процессом в США над революционерами Сакко и Ванцетти, он пишет стихи, в которых с удивительным знанием дела воспроизводит подробности этого позорного процесса. Казнь невинных людей болью отдается в его сердце. И «чтобы эту боль не забыть второпях», он пишет стихотворение «Для памяти», которое посвящает героям этого нашумевшего во всем мире процесса.*

*Память Сергея жадно вбирает все, что происходит в большом и тревожном мире. Она хорошая помощница его широко раскрытой жизненным впечатлениям душе, чуждой равнодушию, эгоизму, себялюбию.*

*Глубокий интерес ко всему, что несла с собой новая эпоха, делает его личную жизнь содержательной и даже красивой, несмотря на материальные лишения, бытовую*

*неустроенность. И если в письмах к родителям промелькнет подчас суровая деталь, она будет подана в таких жизнерадостных тонах, с таким веселым юмором, что никакого уныния не почувствуешь. «Живу хорошо, на аппетит не жалуюсь. Скорее он жалуется на меня». «Приобрел плохую привычку: за обедом съедать два первых и одно второе, или два вторых и одно первое. Не делайте таких больших глаз — обед без мяса!» «Пусть бабушка пришлет деревенского хлеба. Раствор кипятка с сахаром и кусок хлеба — наипрекраснейший ужин!»*

*Сергей прожил в Воронеже несколько месяцев. Животноводческий факультет, на котором он учился, внезапно ликвидировали. И ему был предоставлен выбор: либо перейти на другой факультет, либо сделать перевод в Московский мясо-молочный институт. Верный выбранной им специальности, Сергей переезжает в Москву и поступает на второй курс института. «Я рад, что не изменил зоотехническому делу, — пишет он в письме к товарищу. — Теперь ни одна корова не посмотрит на меня укоризненно».*

*Жизнь и в дальнейшем не раз будет подвергать испытанию его последовательность и верность выбранному пути.*

* * *

Расширьте глаза! Поднимите бровь!
Здесь написано про любовь!

*С этими строками начинается короткий, но очень значительный период жизни Сергея Чекмарева.*

*Как ни были наполнены его кипучие и содержательные дни, все же наступали минуты, когда в сердце возникало ощущение давящей пустоты. Чем было вызвано это ощущение? До двадцати двух лет Сергей ни разу не испытал серьезного чувства к девушке. «Неужели я любить не способен? — со страхом спрашивал он себя. — Неужели вся моя жизнь пройдет без горячего чувства?..*

*Скучно, когда в сердце нет жильца. Нет, не скучно, а страшно!»*

*Но она пришла, эта любовь. Пришла неожиданно, как это часто бывает, и захватила все его существо. Минутами он сомневается в реальности случившегося. «Неужели это правда?» — задает он себе вопрос, и вслед за тем рождаются строки стихотворения, наивные и трогательные своей непосредственностью, чистотой и восторгом: «Неужели это правда, что темны глаза у Тони и что я в нее влюблен?»*

*«Я был беспричинно и чудесно счастлив, — вспоминал он об этом периоде своей любви. — Все радовало, все казалось прекрасным». Умный, начитанный, он оказывается, однако, совершенно неискушенным и неопытным в делах любви. Тоня учится с ним в одном институте, она охотно принимает его приглашения в театр, на литературные вечера, она весело смеется, когда он острит, охотно читает посвященные ей стихи. И он видит во всем этом проявление интереса к его особе, а может быть, и взаимность. И вдруг страшный удар обрушивается на его голову — случайно, из разговора товарищей, он узнает жестокую, неумолимую правду: Тоня, его любимая Тоня любит другого человека, какого-то «доцента» и вот-вот должна стать матерью. И как только это случится, она прекратит с Сергеем всякие отношения. Он не должен даже показываться ей на глаза, «всему наступит конец». Таково ее непреклонное решение.*

*Откуда эта жестокость? Чем вызвано такое решение? Душевной черствостью, и как результат — полное пренебрежение к чувствам «мальчика, сведенного с ума»? Или это озлобление против всего и всех из-за того, что ее собственным чувствам был нанесен удар? Возможно, причинами явилось и то и другое. Но могла быть и третья причина — молодость! Может быть, именно она помешала Тоне оценить Сергея по-настоящему. Ведь в*

*двадцать лет мы готовы приписать любые достоинства тому, кого любим, и не замечаем и не ценим их в том, к кому равнодушны. Тоня продолжала любить человека, которого окружила тайной, романтическим ореолом. «Этот человек — загадка!» И ей не нужны были ни сочувствие, ни жалость, ни участие Сергея. И все же, когда читаешь письма Сергея и в прозе и в стихах — трогательные и нежные, шутливые и серьезные, мужественные и страстные, — невольно думаешь, какое огнеупорное сердце надо было иметь, чтобы оказаться не захваченной этой бурной и сильной волной, чтобы остаться ни капельки не согретой жаром этого безоглядного, великодушного чувства.*

*В своих письмах читатели в той или иной форме задают мне этот вопрос. Пожалуй, самым правильным ответом здесь явится старая народная поговорка: «Не по хорошему мил, а по милу хорош!»*

*Узнав жестокую правду, Сергей мог бы прекратить с девушкой всякие взаимоотношения и остаться в стороне. Но он поступает по-другому. Он пытается силой своего чувства, своей преданностью преодолеть возникшие преграды к ее сердцу. Необходимо освободить Тонину душу от привязанности к недостойному — пошляку и пенкоснимателю, испугавшемуся перспективы стать отцом. И здесь, как и в других обстоятельствах, проявилось благородство помыслов и чувств Сергея. Красота его отношения к Тоне не только в том, что он в трудный час ее жизни остается «верен до конца», но и в его стремлении вырвать ее из состояния безнадежности, вернуть ей веру в будущее. Эту нелегкую задачу должен был решить двадцатидвухлетний юноша, почти мальчик, сам бесконечно страдающий, без надежды на взаимность. Из стихотворений этого периода видно, что, как ни тяжело ему придется, он будет оберегать свою любовь и пронесет ее через «насмешки товарищей» и «сутолоку групп», через недовольство родителей.*

Я буду здесь, я буду злиться...
Я буду верен до конца.
Из сердца все на свете лица
Не выжгут твоего лица.

*Эта задача требовала не только душевных, но и творческих сил. Стихи были очень важным средством в этой борьбе. Поэзию рождала жизнь, для жизни рождались стихи! Активные и целеустремленные, полные горячего чувства, человечности, эти стихи — важный период в творчестве Чекмарева. Сильные чувства, искренние переживания обогатили его душу и его палитру, внесли новые интонации. И все же это чекмаревские стихи! Даже любовь, как велика она ни была, не заглушила в его поэзии гражданские мотивы, публицистическое звучание.*

Я буду там, где должен быть,
Куда поставит класс!
Но мне нигде не позабыть
Сиянья серых глаз...

*Так емко, лаконично и содержательно может сказать только настоящий поэт. Сергей убежден, что любовь — это часть жизни, следовательно, она не может заменить целое, заслонить собой все остальное.*

* * *

*Пятнадцатое марта 1932 года — важная дата в жизни Сергея Чекмарева. Окончен институт — ему предоставлен выбор: либо работа в городе, в конторе треста, либо в деревне, в совхозе. Он выбирает совхоз и уезжает в «далекую Башкирию», где в те времена состояние сельского хозяйства было очень тяжелым. Его письма с дороги (он пишет по нескольку открыток в день) наполнены любовью к Тоне — разлука далась*

*нелегко. Вместе с тем он уже захвачен мыслями о предстоящей работе.*

*Современному читателю, знакомому с цветущей Башкирской республикой, с ее социалистическими городами и селами, кажется совершенно невозможным применить к ней такие слова: «отсталый край», «полудикие места», «глушь», «бескультурье». Но в годы коллективизации сельского хозяйства такие термины отражали подлинное положение вещей, особенно в труднодоступных горных районах республики, где коренное население с трудом расставалось с пережитками старого. Как ни старался Сергей смягчить и просветлить краски, все же эти слова невольно прорываются в его письмах в Москву.*

*Условия, в которые попадает Сергей, оказываются очень сложными даже для опытного специалиста. А ведь у Сергея никакого опыта не было. Жизнь предстает перед ним суровыми сторонами и как бы проверяет его выдержку, искренность его призывов к борьбе, способность противостоять трудностям. Кроме типичных осложнений, характерных для того времени, в Баймакском совхозе были и свои, особые. Прежде всего, по природным условиям он не был приспособлен к ведению животноводства. В конце концов этот вывод был сделан руководящими организациями, но произошло это значительно позже. Не было опытных людей, с кем можно было бы посоветоваться, не было помощников, на кого можно было положиться. За восемь месяцев сменилось три директора, и все их ошибки, промахи приписывались «ученому зоотехнику». «У нас в совхозе торричеллиева пустота. Никого и ничего нет». Так коротко, но выразительно определяет состояние хозяйства Сергей Чекмарев.*

*Можно было бы и приуныть. Можно было крепко пожалеть о сделанном выборе. Однако в Москву идут письма, полные бодрости, веры в себя, оптимизма.*

*«Глупы были те люди, которые жалели меня в Мо-*

*скве. Вот, дескать, человек окончил вуз, получил высшее образование и едет в деревню, в глушь, в полудикие места. Ну, вот я в деревне, в глуши и очень доволен. Работать здесь — трудно. Но лучше трудно, чем нудно! Так я считаю». В ответ на просьбы «вырваться» он с возмущением отвечает: «Никуда я отсюда не вырвусь, и не может этого быть!» Само слово «вырваться» вызывает у него негодование и внутренний протест.*

*«Лучше трудно, чем нудно»! И вот в дождь, в зимнюю стужу или под палящими лучами солнца, навстречу ливням или режущему ветру, согревая дыханием замерзающие пальцы, скачет по степи от фермы к ферме, от бригады к бригаде старший зоотехник совхоза Сергей Чекмарев. Его огорчают ошибки, допущенные им самим в результате излишней доверчивости, неопытности. Но он полон решимости продолжать свою работу — «я овладею опытом, я буду здесь трудиться, пока не овладею». Никакие препятствия, никакие трудности не могут охладить юношеский пыл, кипучую энергию, ослабить непреклонную веру в свои силы. И, глядя на этого сероглазого юношу, с виду почти мальчика, с обожженным от солнца и ветра лицом, скачущего верхом в холодную погоду без шапки, многие забывали о своих личных нуждах, о нехватке необходимого. Возвышающим примером был Сергей Чекмарев для тех, кто слабел или готов был отступить в тяжелой борьбе.*

* * *

*Однако обстоятельства складывались таким образом, что Сергей вынужден был покинуть совхоз. Его призывают в армию, он прощается со степью, со всем тем, с чем успела сродниться его душа. На призывном пункте при проверке зрения его освобождают от военной службы, и он получает возможность распоряжаться собственной судьбой. «Я мог вернуться в совхоз, а мог и не*

возвращаться. Мог уехать в Москву», — писал он впоследствии в своем письме к родным. Никаких обязательств теперь у него нет — ни перед институтом, ни перед совхозом, ни перед товарищами. Кто бы не обрадовался этому ощущению полной свободы выбора?

И тут мы вплотную подходим к тому, что было связано с рождением его стихотворения «Размышления на станции Карталы». Все, что происходило до сих пор в жизни Чекмарева, было как бы моральной подготовкой к этому новому серьезному испытанию, к этому решающему шагу в его жизни, к созданию одного из самых значительных его стихотворений.

Станция Карталы! Мало кому известно название этого железнодорожного пункта. Но благодаря Сергею Чекмареву и его стихотворению эта станция войдет в историю литературы, как вошли в нее многие другие географические названия, связанные с героическими подвигами советской молодежи.

...Он сидит на станции Карталы и размышляет над внезапно сложившейся ситуацией. Куда ехать? Он должен принять важное решение, которое определит его будущее. Возвращаться в Богачевку? Конечно, он вернулся бы туда — он полюбил свою работу, но директор сделал все, чтобы избавиться от «строптивого» зоотехника. Значит, в совхоз он поедет, но не в этот! Надо в Уфу, в трест за новым назначением в другой совхоз. Но поезд в Уфу придет только через 18 часов. Как их убить? Чем заняться? В кармане оказались бумага и карандаш. Он будет сочинять поэму о... пассажирах, сидящих в зале. И занятие интересное, и время пройдет незаметно.

Вдруг среди раздумий он слышит шум приближающегося поезда. К перрону подходит хорошо знакомый ему пассажирский состав Магнитогорск — Москва. Сергей наблюдает за внезапно ожившей станцией, видит суету пассажиров, спешащих в вагоны, и ему ста-

*новится трудно дышать. Зачем ему ехать в Уфу? Ведь он считается мобилизованным в армию. Следовательно, от всех обязательств перед институтом, трестом, совхозом он полностью освобожден. Тот факт, что его не взяли в армию, ничего не меняет. Он совершенно свободен в выборе места работы. Следовательно, надо ехать в Москву и там решать все вопросы. Вот сейчас он поднимется на ступеньки, войдет в вагон и через несколько дней окажется в столице. Прошло несколько месяцев, как он ее покинул, а ему кажется, что прошли годы. Все это время он жил без книг, без свежих журналов, без лекций, театров, музеев. И вот теперь все это снова вернется — стоит только войти в вагон. Он забудет все то, чем жил эти тяжкие месяцы, — навоз, надои, корма, телята, случка, падеж; повседневная изнуряющая борьба за каждый клок сена, за каждого теленка, за каждый литр молока. Днем незаметная повседневная работа, а по ночам тоска по любимой, смертельная усталость, тяжелый сон. Как просто и легко сейчас от всего этого уйти! У него даже перехватило дыхание от этой мысли.*

*Просто и легко? Да нет, не так это просто. И совсем не легко. А как же быть с девизом: «Быть там, где наиболее трудно»? А обещания самому себе: «Никуда я отсюда не вырвусь, и не может этого быть!» Неужели это были только слова? А долг комсомольца? Ведь это не пустяк! Конечно, его никто ни в чем не обвинит. Ситуация сложилась в его пользу. Он оправдается. Да и оправдываться ни перед кем не придется. Призыв в армию освобождает от двухлетней отработки в совхозе. Но оправдается ли он перед самим собой? Вот что главное.*

*Нет, сам он себе этого бегства не простит.*

Я знаю: я нужен степи до зарезу.
Здесь идут пятилетки года.

И если в поезд сейчас я влезу,
Что же со степью будет тогда?

*На этом можно было бы закончить стихотворение. Здесь уже все сказано для того, чтобы решение Сергея воспринималось как поступок, достойный сына своего времени, а его внезапное желание уехать в Москву — как минутная слабость. Но что же, однако, победило эту слабость, что помогло осилить соблазн уехать в родной город, с которым так много связано? Неужели только сознание комсомольского долга?! Ну а если бы и так, разве этого мало? И с такой концовкой стихи сохранили бы свое гражданское звучание и большую воспитательную силу.*

*Однако стихотворение на этом не заканчивается, последующие строки раскрывают более глубокие причины этого поступка.*

Но нет, пожалуй, это неверно,
Я, пожалуй, немного лгу.
Она без меня проживет, наверно, —
Это я без нее не могу.
У меня никогда не хватит духу —
Ни сердце, ни совесть мне не велят —
Покинуть степь, гурты, Гнедуху
И голубые глаза телят.

*Эти строки отчетливо дают нам понять, что решение Сергея Чекмарева остаться в Башкирии не вынужденная жертва комсомольскому долгу. Не только долг и совесть, но и сердце не позволяют ему бросить эти «полудикие места». Работа в совхозе становится внутренней потребностью юноши. Именно здесь он нашел для себя все то, «чего всю жизнь искал».*

Ну, так что же! Ведь мы не на юге,
Холод, злись! Буран, крути!
Все равно сквозь завесу вьюги
Я разгляжу свои пути.

*Решение Сергея Чекмарева — это победа всего лучшего, что дала ему наша эпоха. Эта победа имеет огромное значение не только для раскрытия его характера. Это тот самый случай, когда человеческий поступок становится подвигом. В поступке Чекмарева содержится глубокий обобщающий смысл. Он утверждает красоту жизни — трудной, чистой, наполненной глубоким содержанием. Такая жизнь не уходит в небытие, она остается в сердцах людей навечно.*

* * *

*Приняв твердое решение остаться работать в Башкирии, Сергей получил новое назначение — в Инякский совхоз в горной части республики. «Мы в шубе из мохнатых гор, в теплой лесной фуфайке» — так образно описывает он новые для него места. И со свойственным ему юмором добавляет: «Мороз тут крепчайший и не любит, когда суют нос в его дела. К несчастью, я сам успел убедиться в этом». Инякский совхоз — более благоустроенное хозяйство, но и здесь есть свои трудности и осложнения. В тот момент, когда его призвали в армию, из Москвы приехала в Богачевку Тоня с годовалым сыном. Надо их перевезти в Иняк, а здесь нет квартиры — Сергей ночует в совхозной конторе. У него долги, сложности в работе, во взаимоотношениях с рабочими. Кроме двух-трех сотрудников конторы, никто русского языка не знает. Комсомольская организация отсутствует, он один комсомолец на весь совхоз.*

*Несказанно обрадованный приезду грамотного юноши, секретарь парторганизации поручает ему воспитательную работу с молодыми рабочими и целый ряд других ответственных дел. Работы много, энергии и бодрости тоже достаточно. Сергей безмерно счастлив — его радует перспектива трудиться бок о бок с любимым человеком, заботиться о ее ребенке. Все это дополнит и укра-*

*сит его жизнь. И он готов распахнуть свои объятия «снегу», «ветру», «колючим соснам» и даже «косматой метели».*

*В Иняке он пишет стихотворения, в которых снова убедительно и очень «по-чекмаревски» раскрывается своеобразие его отношения к жизни и к поэзии. Это своеобразие — органический сплав личных мотивов с мотивами гражданскими, интимнейшей лирики и высокой публицистики. В этом отличительная черта лучших его стихотворений. Будничная проза воспринимается в стихотворениях Чекмарева как подлинная поэзия.*

Среди снежинок шелковых
В нагроможденьи скал
Я только здесь нашел себе,
Чего всю жизнь искал.

*И мы воспринимаем эти строки с большой верой в их продуманность и безграничную честность.*

*Однако на радости семейного счастья судьба для него явно поскупилась. Едва его любимая приехала в Башкирию, едва он стал привыкать к уюту: «примусу», «занавескам», «курносому чайнику», как пришло новое испытание: Тоня решила вернуться в Москву заканчивать институт, хотя сделать это, по глубокому убеждению Сергея, можно было бы и заочно, оставаясь в совхозе. Сергей всеми силами пытается переубедить ее. Как всегда, за помощью он прибегает к стихам:*

Скажи мне: неужели ты
        со скукой смотришь на небо?
И жизнь тебя измучила
        и кажется сера?
И как в реку бросаются,
        не глядя, хоть куда-нибудь,
Бежать тебе хотелось бы
        из этого села?
А мне минуты кажутся
        чудесными и гордыми,

По книгам буквы ползают,
беснуется метель,
И лошади проносятся
с опущенными мордами,
И избы озаряются
улыбками детей.

*Эти проникновенные строки трогают и убеждают так глубоко, как убеждает вся его трепетная и бескорыстная любовь к жизни.*

*Решение Тони вернуться в Москву вызвано не бытовыми затруднениями — она умела с ними мириться. Жизнь в совхозе для нее невыносима, потому что она не любит Сергея. Как ни мучительно смотреть правде в глаза — а он предпочитает правду, — эта разлука навсегда! Теперь уже не будет ни переписки, ни ожиданий встречи, ни надежд на будущее. Для него останутся «дырявые ночи», одиночество, тоска.*

*Можно представить себе душевное состояние, в каком он находился последние дни своей жизни, потому что это действительно были его последние дни. В таком смятении чувств он собирался ехать в командировку на дальнюю ферму совхоза. В таком состоянии он прощался с Тоней — она решила уехать, не дожидаясь его возвращения.*

Возьми, родная, свое сердце
проверь!
Ведь я люблю тебя, как прежде,
поверь!

*Это были его последние строки.*

*Вечером, накануне отъезда, он наскоро переписывает в рукописный журнал «Буран» свой очерк «Лощадь». Закончить очерк ему не удается, и он делает редакционное примечание: «Ввиду непредвиденных обстоятельств «печатание» статьи пока прекращается».*

*А на другой день, 11 мая, Сергея Чекмарева не стало.*

*С удивительным предвидением, свойственным многим поэтам, Сергей нарисовал картину своей гибели в стихотворении-письме «Где я? Что со мной?»:*

И что закричал он —
Никто не услышал.
И где похоронен он —
Неизвестно.

*Нельзя без скорби читать его примечание к неоконченной статье и эти стихи, в которых так точно передано ощущение тревожного времени, предчувствие трагического конца.*

*Оборвалась жизнь в пору весеннего расцвета, полная поэзии и мужества, ясная и сильная, как наступающее утро. Оборвалась на полуслове последняя недописанная строка.*

*Время и другие обстоятельства стерли следы к его могиле, которую сейчас уже, действительно, не найти. Но остались следы, которые не сотрут ни время, ни события. Они ведут не к могиле, а к живому Чекмареву — полному жизнелюбия, человечности, энергии и творческих сил. Эти следы — его трогательные письма, стихи, записи в дневнике, составившие эту книгу.*

*С. ИЛЬИЧЕВА*



## ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ

*Каждое лето семья Чекмаревых уезжала в деревню Беззубово — на родину Ивана Федоровича Чекмарева. Здесь проводил школьные каникулы и Сергей. Но вот наступил 1926 год — важная веха в его жизни: окончена школа-девятилетка. Школа имела профессиональный уклон — она готовила конторщиков, счетоводов, продавцов магазинов. После сдачи экзаменов нужно было пройти практику. Сергей работал на книжном складе счетоводом и все лето провел в Москве — после практики началась подготовка к экзаменам в вуз. Три года подряд он сдавал вступительные экзамены на «отлично», но своей фамилии в списках принятых — не находил. В те далекие годы в стране еще не было такого большого количества высших учебных заведений, какое имеется сейчас, а желающих учиться было великое множество. Но в вузы в первую очередь принимали рабочих, окончивших рабфак. Однако Сергей не унывает. Внутренняя моральная опора была столь сильна, что он не надломился духовно, не потерял веры в возможность стать полезным человеком.*

Я верю, я охотно верю
В людскую светлую судьбу.
Нет места в человеке зверю,
Как нету мест в МВТУ.

*Так писал он в своем незаконченном стихотворении. Его остроумные и жизнерадостные письма полны надежд, веры в «людскую светлую судьбу».*

*Первая глава книги дает представление о богатой духовной жизни Сергея Чекмарева в эти нелегкие для него годы. Наряду с напряженной подготовкой к экзаменам он следит за всеми событиями, которые происходят в большом мире. Он много читает, наблюдает; чуткое ухо, острый глаз выхватывают важные детали, которые он потом использует в своих литературных набросках, рецензиях, стихах. Словом, живет он активной творческой жизнью. Желая поддержать у младших Чекмаревых интерес к семейному рукописному журналу «Метеор», он находит время для того, чтобы «сотрудничать» в этом журнале. К каждому своему письму он посылает «приложения к письмам» — заметки, стихи, шарады, ребусы. Но и сами его письма могут служить литературным материалом.*

---

* * *

Дорогие беззубовцы!

Еще немного, и я, право, начну вам завидовать.

В самом деле, посудите сами, разве можно хорошо чувствовать себя в таком месте, где воздух — в аптечных дозах, автобус — едет (а что ему больше делать?), но и пылит при этом, а дым от котлов, в которых варят асфальт, укутывает дома черными майками? И разве может такое место сравниться с вашим идиллическим Беззубовом, где загар — слоистый, как навоз, где за сеном ухаживают, как за сыном, а минута считается бесконечно малой величиной? Где по полям ходят шу-

стрые и ловкие беззубовцы, остроумные беззубовцы, краса и гордость всей Косяевской волости.

Недаром говорит пословица: молодец против овец, а против беззубовца и сам овца!

Я должен сообщить вам о своих делах с вузом. Заявление я подал в МВТУ на механический факультет. Конкурсных мест там очень много — целых девять, а заявлений пока подано «пустяки» — 295.

Письма ваши получил. Простите, что только сейчас собрался ответить. Прошу вас, не давайте слишком хлопотливых поручений, как, например: «Передай привет папе и остальным москвичам». Ведь остальных москвичей не два-три человека, а около двух миллионов.

* * *

Здравствуй, бабушка и Нина,
Здравствуй, Лида * и «Бутон»!
И «Милушка», друг старинный,
И с котятами корзина,
И хрю-хрюшке мой поклон!

Жить в Москве не очень сладко —
Тут и пыль и духота,
И с погодой непорядки,
И проклятые тетрадки,
И весна совсем не та.

Серый дождь в окно мигает,
Вьется скучный дым из труб,
Скука, сон одолевает,
И ничто не помогает —
Книга валится из рук.

Утром день такой же гадкий,
Облака черны, как ад,
Соберешь свои манатки,

* Нина и Лида — сестры Сергея Чекмарева.

И несешься без оглядки
На центральный книжный склад.

Книги, счеты, подотчеты,
Буквы, цифры и значки...
После трех часов работы
Уж в мозгах перевороты,
И не пальцы, а крючки.

Вечера еще печальней,
Скучно, тесно, утомлен,
И, плетясь дорогой дальней
В перегретую читальню,
Вспомнишь: как-то там «Бутон»?

Если ж день случится жаркий,
Жарко, значит, горячо.
Солнце топит, как кухарка,
И кладет, кладет припарки
На затылок, на плечо.

Денег нет ходить в кино нам.
Да к тому же много дел,
Даже (что пишу со стоном)
В «Арсе» с Бестером Китоном
«Три эпохи» не смотрел.

Вот вам новости все вкратце.
Толя в Крым уж взял билет.
Привелось мне любоваться
На такое счастье братца,
Приведется вам иль нет?

Напишите мне в ответе
Про свое житье-бытье,
Что вы делаете летом,
Да про то, про се, про это.
До свиданья,
Чекмарев.

* * *

Сейчас день, солнце, жара, ветра нет, деревья от этого кажутся зеленее, но лица чернее. При такой температуре часы в жилетном кармане легко могут расплавиться и потечь ручейками по пиджаку. Москва любит иногда попотеть, но зато любит потом с разбегу встать под душ и плескаться в ледяной воде. Дождик — самое мое любимое удовольствие; хорошо в это время лежать на окне и смотреть на улицу, особенно если ветер. Воздух чистый, брызги попадают на лицо, дома распускают серебряные косички, крыши краснеют, а внизу бегут ручьи и люди.

Получили ли мою фотокарточку? Не правда ли, я выгляжу лучше, чем в прошлом году? Так как я за это время не изменился, то предполагаю, что фотография делает успехи.

Если так пойдет и дальше, то через двадцать лет самый некрасивый человек будет выглядеть на снимке, как Мери Пикфорд.

* * *

Письма ваши получил пополам с творогом. Если бы я их ел, они мне понравились бы больше, но я их только читаю. В следующий раз, когда будете с кем-либо посылать письма, кладите их поудобнее. Я пока живу весело — беспрерывно пишу и читаю учебники по физике и математике. С приезда я написал 280 страниц — это несмотря на то, что в это же время я носился с документами и заявлениями. Убавился в весе я пока на один фунт. Это, вероятно, тот фунт, который я исписал (полагаю, что 280 страниц весят никак не меньше фунта).

## ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ

На номер девятый
 сзади сядь
И, глядя вокруг
 рассеянно,
Умчи километров
 за деся́ть,
Заблудись в синеве
 и зелени.
И, следя
 за взлетевшей галкой,
Под ветвями стоишь,
 как замер.
Только колется мысль
 иголкою:
Пятнадцатого экзамен.
И, любуясь стаей ловкою,
Конвоируешь птиц
 глазами.
Только колется мысль
 булавкою:
Пятнадцатого экзамен.
Вечереет...
 Ехидный кто-нибудь
Паутину
 развесит по небу.
Скоро звезды
 с жалобой тихою
В паутине забьются,
 путаясь,
И луна поползет
 паучихою,
Огромная и глупая.

* * *

Что же это вы, дорогие товарищи! Пишут — скучно, делать нечего, а сами не могли написать письма. Позабыли, что в Москве остался «маленький» братишка, да?

Погода у нас стоит очень хорошая, по сравнению с той, которая на Северном полюсе. Дождик ходит довольно регулярно, каждый день в обеденное время. «Скучать» мне здесь некогда, потому что дел по локти и я постоянно занят. Сейчас занимаюсь исключительно обществоведением и литературой. По литературе исписал уже 370 страниц, а исчитал (вероятно) 3700.

Видел картину «В большом городе». Вот глупая вещь! Из интересной темы сделана каша.

Прежде всего что за содержание? Некий талантливый, как говорится, юноша живет в провинции и пишет этакие забористые стишки («В город, в город, в город, в город! Широко распахнут ворот. Верст бы тыщу отмахал, мир стихами распахал»). Встретясь случайно с одним шарлатаном-писателем, он соглашается на его предложение ехать в Москву завоевывать славу. И действительно, слава к нему приходит, он становится известностью (поэт Граня Бессмертный).

Но тот же писатель втягивает его в богемный быт. Юноша пьянствует, кутит, наконец «теряет талант», и редакция отказывается его печатать. В противовес ему в фильме выводится его приятель, который тоже «гений» (изобретатель каких-то универсальных шкафов), тоже приехал в город за счастьем, но не ходит по кабакам, работает, добродетельно влюбляется в дочь своего начальника, никогда, по-видимому, не бреется и очень похож на гориллу.

Что можно вывести из такого фильма?

1) «Если ты человек талантливый, то не должен пьянствовать и сбиваться с дороги, ибо погубишь свой талант». Мысль, как видите, справедливая, но, увы,

слишком подразумевающаяся сама собой, чтобы ее иллюстрировать еще кинофильмами.

2) «Если ты человек талантливый и хочешь распахивать мир стихами или универсальными шкафами, то не сиди в провинции, а поезжай в большой город». Эта мысль вытекает из фильма, может быть, независимо от воли постановщиков, но посудите сами: изобретатель едет в город и там делает себе карьеру, поэт едет в город и моментально становится известностью, правда, потом теряет ее, но сам виноват — не пей. Можно сделаться знаменитостью и потом пьянствовать в меру. «Так я и сделаю», — скажет какой-нибудь провинциальный поэт, покупая себе билет Зарайск — Москва.

В чем основная ошибка этого фильма? В том, что он основным злом писательской богемы считает то, что богема эта губит таланты, а не то, что она губит простых, средних людей, которые должны бы работать. Средние (а тем более плохие) стихи писать нетрудно, и многие, кому далось это умение, воображают, что они должны сделаться поэтами. Они отрываются от производства, идут в богему (они-то ее и составляют) и стремятся сделаться писателями-профессионалами, между тем как в сущности не способны к этому. Кто-то верно определил богему как сборище непишущих писателей, нерисующих художников и т. д.

## РАЗГОВОРЫ С КЛАССИКАМИ

Сколько имен!
        Сколько книг!
Плавают томики рыбами.
Что в нем?
        Что в них?
Какой
        лучше
                выбрать?

Что взять?
С чего начать?
Нерешительно щурю глазки.
Легко скользя,
проходят по ночам
заслуженные классики.
Дрожу:
почему они
смотрят так грозно?
К чему такие видения?
Они защищают
классической прозой
свои произведения.
Твердо стоя,
хотя и сто лет,
учтивый,
простой,
говорит Толстой:
«Чтоб мир дворянский
стал вам мил,
возьмите книгу
«Война и мир».
И веско-резкий
встает Достоевский:
— Совершенно необходимо
к экзаменам
«Преступление
и наказание».
И затем
затейливо-фразова
речь Некрасова:
— Я за Федора рад, но вам,
чтобы экзамены
все сдать,. .

не лучше ли взять
«Размышления
у подъезда
парадного».
Но вот, вступая
в тур гениев,
слово берет Тургенев:
— Чтобы экзамен
был вам не труден,
прочтите роман,
называемый «Рудин».
И чрезвычайно жестко,
и точно как миля,
говорит кто-то
с длинной фамилией:
— Чтобы вам после
не пришлось тужить
и на экзамене сердце
не обмирало,
возьмите
«Повесть о том,
как мужик
прокормил двух генералов».
А Безыменский
в фуфайке вязаной
старается
выглядеть развязно:
— Все мы классики
бенее или молее.
Дерга765ните
«Комсомолию!»
Чтобы выглядеть
торжественней,
он себя
окружает жестами.

Протянулись
эти жесты
от кровати
до этажерки.
И один из них,
не знаю как,
восемь книг
уронил впопыхах.
И этот жест,
загремев, как жесть,
сон спугнул,
который уселся.
И классиков нет...
А книги есть.
И еще
голова
и сердце.

* * *

Беззубые миловцы!

Если я не писал вам писем — а я действительно их не писал, — то только потому, что не было времени. Но теперь экзамены кончены, последний черновик скомкан и последняя книга захлопнута. Время опять расцветает, и карандаши обрастают почками. Двадцатая буква русского алфавита украшает мои экзаменационные ведомости. Что же касается собственно приема, то я на него не надеюсь. Бедный Макар, — я попадаю всегда в тот вуз, в котором теснее всего.

Наверно, вы жалеете, что я живу в душном городе. Вы думаете, что если я вижу дерево, то не надо далеко идти, чтобы попасть под автомобиль. Однако это не так. Каждое утро трамвай № 12 возит меня по зелени, осторожно держась за проволоку. Кругом зреют овес и кле-

вер. Ходят коровы и щиплют траву. Рожь тут не вся еще скошена.

Бываю я также в Парке культуры. Не говоря уже о волейболе и купальне, там есть такие вещи, как бесплатные души, комнаты для викторины, психологический кабинет, читальня на крыше и тому равное и тому подобное.

Был я и в психокабинете. Оказывается, что у меня самое хорошее — это память. Сообразительность выше среднего, а что касается фантазии, то ее, увы, почти нет. Впрочем, под фантазией здесь понимается способность рассматривать в необычном пятне разные обычные вещи. Так же условны и другие испытания. Бесспорно, что существует столько видов памяти, сообразительности и фантазии, сколько есть видов умственной деятельности.

Товарищи, вы мало мне пишете. Мне приходится самому придумывать сведения о вашей жизни.

Вот они: вы живете пока ничего, все живы, здоровы. Погода стоит хорошая, но в пятницу шел дождик. Волейбол не устраивали, «все как-то некогда». Занятия также не идут — «все как-то не хочется». Надо бы к четвергу написать письмо брату, но «что-то не пишется».

Правда, ведь так?

## АМЕРИКАНСКИЙ БОЕВИК

Быстрее
        афиши
                на стены лепи —
Сегодня
        город в угаре:
Картина
С участием
        Гарри Пиль.

Гарри!
Гарри!
Гарри!
У кинотеатров
растут хвосты —
Не кинотеатры,
а звери.
Как хищные зевы,
как жадные рты,
Хрипят
огнезубые двери.
Толпа,
как стена.
Цена за билет
не дорога ли?
Зато на экране
покажется нам
Сам
замечательный Гарри.
На экране хлещет
кровь из вен.
Героиня в слезах,
лошади в мыле,
От этой сырости
в голове
Разводятся
странные мысли.
Вот рядом
на стуле № 6,
На дикие гонки
любуясь,
Сидит малыш,
и в его душе,
Наверно,
бушует буря.

Представим дальше:
положим, сели вы,
А малыш рядом
взгляды шлет:
«Хорошо бы, как сыщик
из второй серии,
Быстро, бесшумно
стащить кошелек!»
Или представим
другой кадр:
Гаврикова улица ночью,
И из тьмы
По темени чья-то рука,
Мускулистая очень.

Известно —
у девочек другие привычки
И мысли
тоже другие.

Они в темноте
мечтают выйти
Замуж за Гарри Пиля.

Чтобы выглядеть, как героини кино,
Побросав иголки и ножницы,
По вечерам
выползают из нор
«Заслуженные» киношницы.

Если бой
в переулке гремит,
Если мальчик
и уже бандит,
Если у девочек
шикарный вид,

Это —
американский
боевик!

Выводы:
чтобы сделать кино
хорошее,
Избавить
мозги от туманной гари,
Давайте с экрана
прогоним в шею
«Замечательного»
Гарри!

## ГЕНИАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

*Рассказ*

Восемь лет я был знаком с моим сослуживцем Мушкиным Семеном Никифоровичем и даже не подозревал, что имею дело с необычным человеком. Восемь лет я с ним здоровался за руку, угощал «Боксом», давал пятерку до пятницы и ни разу не догадался, что передо мной не простой смертный. Открылось это совершенно случайно.

Однажды, во вторник, я был у Мушкина. В этот день мы сговорились поехать на дачу к общему нашему знакомому Шлянину, помощнику начальника станции, и потому не явились на службу. Поезд должен был отойти через час, но Мушкин еще одевался и прихорашивался. В ожидании приятеля я перелистывал прошловековый, кажется, журнал «Север». Наконец Мушкин появился. Скрипя новыми башмаками, он остановился на пороге комнаты.

— Ну, пойдем, — сказал он. — Кстати, по дороге я зайду в магазин. Соседка говорила, что у нас в госмолоке дают масло.

— Если ты хочешь достать масло, — насмешливо отозвался я, — то тебе придется ехать вечерним поездом.

Мушкин загадочно улыбнулся:

— Пойдем.

Мы вышли. Белый снег запушил шубы. Мушкин скрипел башмаками. Не доходя километра до магазина, мы уже заметили очередь. По моему глубокому убеждению, в ней надо было простоять часа два. Мушкин спокойно и как-то равнодушно шел мимо очереди и, только подойдя к ее началу, стал пристально вглядываться в лица.

«Ага, у него занята очередь», — догадался я.

Наконец Мушкин остановил свой выбор на бесцветном молодом человеке с длинными ногами и бледным лицом.

— Не помню, я впереди вас стоял или позади? — обратился он к нему внезапно строгим и резким голосом.

— Я... что... ч... кажется, позади, — смущаясь, ответил молодой человек. Цвет лица у него стал красный.

— А не впереди?

— Я... как... я... Может быть, и впереди.

— Нет, теперь я вспоминаю: действительно позади. Благодарю вас! Что же мы так медленно подвигаемся? — И Мушкин спокойно занял место в очереди.

— Да, очень медленно, — подхватил молодой человек, как будто даже обрадованно. Цвет лица у него опять стал бледный.

Через 20 минут Мушкин получил масло.

— Здорово! — сказал я, когда он подошел ко мне. Я уже догадался, в чем дело.

Мушкин скромно вздохнул.

— Ты так всегда получаешь без очереди?

— Ну, что ты! Разве можно все время по-одинаковому? Смотря какие люди.

— Как же еще? — спросил я с интересом.

И Мушкин начал раскрывать передо мной свои «методы».

— Иногда, — начал он, — если видишь — стоит какая-нибудь женщина, — ну не женщина, а домашняя хозяйка, так возьмешь положишь на снег двугривенный, а потом подойдешь и скажешь: «Гражданка, вы деньги уронили?» Она сейчас же: «Ах!» — поднимет и в сумочку. После этого или прямо попросишь — можно сзади встать? Или, даже не спрашивая, встанешь в очередь. И вскоре масло уже в кармане. Конечно, с двугривенным приходится распроститься, ну да ведь на рынке больше переплатишь. А если в очереди стоит какой-нибудь знакомый...

— Ну, тогда дело просто, становись впереди. Это и я, брат, сумею.

— Вовсе нет. Это можно, если хороший знакомый, а если так, шапочный, то и неудобно. Да, позволь — а очередь? Сзади и впереди тоже не дураки стоят, всякого не пустят. Нет, а я вот как. Я говорю: «Иван Петрович! Вы еще стоите? А я уже!» И хлопаю себя по карману. Слово за слово, разговариваю и подвигаюсь вместе с ним. И кругом ничего. Как до кассы дошел, так в момент деньги из кармана, и готово. А то так же можно пристроиться и к незнакомому. Выберешь человека поинтеллигентнее и подходишь к нему, будто с ним сейчас тут стоял в очереди, да отлучился на минутку. «Нет, — скажешь, — в том магазине масла не дают, правильно вы говорили. Почему это, как вы думаете, масла не хватает?» Так поворачиваешь, что ему совсем невозможно сказать: «Вы тут не стояли».

А если вечером у меня есть свободное время, то пойду попозже и наклею на магазин бумажку: «Сегодня масла не будет. Масло привезут завтра в 10 часов». Утром приду к открытию и получу без всякой очереди. Раз только две старухи стояли: безграмотные, оказывается. А то так: пройдусь по очереди: граждане, разменяйте червонец! Конечно, охотников не окажется. Тогда подхожу постепенно к кассе и сую червонец —

получите столько-то, будто разменять только. И сзади ничего. Получу масло, ну и сырок там еще (нельзя же платить только за масло). А то еще и так: притворюсь, будто...

Я слушал с захватывающим интересом, ничего не видя и не слыша вокруг. Кажется, я наступил кому-то на ногу. К сожалению, в этот момент мы подошли уже к кассе вокзала и засуетились с отъездом. В вагоне было тесно, и мы оба молчали. У Шляниных также молчали, то есть об очередях молчали, но вообще-то разговаривали, и очень даже много. Но на обратном пути я попробовал возобновить разговор.

— Ты меня заинтересовал своими методами. Какие же ты еще штучки проделывал в очередях?

Но Мушкин только хмуро посмотрел на меня и ничего не ответил. Видимо, он сожалел о своей внезапно нахлынувшей откровенности.

Ни завтра, ни после мне не удалось больше выманить у него ни одного слова об очередях. Рассердился ли он на меня за что-нибудь, понял ли, что такая откровенность и вообще широкое распространение его системы невыгодно для него, но только каждый раз, как я с ним об этом заговаривал, он ничего больше не рассказывал. Но мне, однако, пришлось один раз увидеть его «на практике». Это было в Госбанке. Я пришел заложить свои облигации займа индустриализации. А рядом со мною стояла полнометражная очередь плательщиков по социальному страхованию. С другой стороны стоял стол, за которым операций не производилось. Банк только еще переезжал в это помещение.

Вдруг к очереди подошел Мушкин, с красной книжкой соцстраха в руках. Чтобы не быть узнанным, я поднял повыше воротник и с любопытством стал наблюдать. Смерив взглядом очередь, Мушкин поморщился. Затем принял обычный свой солидный вид и строго спросил:

— Вы за чем стоите?

— За социальным страхованием, — ответило ему больше десятка недружных голосов.

— Мужчин или женщин?

В очереди молчали.

— Мужчины или женщины у вас застрахованы? — строго повторил Мушкин.

— Женщины, — робко ответила какая-то домашняя хозяйка, закутанная в огромный пуховый платок.

— Если женщины, то вам, гражданка, не сюда. Здесь страхование мужчин. Вот вам — рядом, прием с двенадцати.

Домашняя хозяйка колебалась. Но несколько человек из очереди быстро перешли на другую сторону. Домашняя хозяйка заторопилась и поспешила туда же. Вслед за нею хлынула и вся очередь. Осталось только несколько мужчин, к которым присоединился и Мушкин.

В одиннадцать часов начался прием, а через 20 минут Мушкин уже выходил из Госбанка с красной книжкой в руках. Очередь стояла. Я завистливо вздохнул.

Гениальный человек!

## ДЛЯ ПАМЯТИ

Вероятно, многих
позабуду еще —
Разбросаю память
по годам.
Второпях шагая
в позабудущее,
Время быстро мчится,
как всегда.
И звереныш — злоба, ухватив
раз пять,
Распушит помягче
лапки цепкие —

Вместо электрических распятий
Смутно встанет:
«Сакко и Ванцетти...»
Чтобы эту боль
не забыть второпях,
Не простить озверелой банде,
Я хочу на своих
полотняных стихах
Завязать узелок
для памяти.
Чтоб тяжелым укором:
«Как же вы?!»
Чтоб примером,
душу обжигающим,
Чтобы встали оба,
как живые,

Как живые,
но
умирающие...

За то, что коммунисты,
за то, что организаторы,
Что сердца тверды,
что слова колючи,

За то, что, может быть,
послезавтра
Участвовали бы в революции!
За все за это
под нелепым предлогом

Конвой... Штыки...
арестуют...
тащат...

В самом деле:
разве долго
Буржуазии убрать
мешающих?

Современная фурия —
губернатор Фуллер
Приказом на город
ружья выпулил.
Город окружают войска,
полиция...
Не позабудется ли?
Отомстится ли?
Под ветром жестоким,
в грядущее дующим,
Газетный листок,
трепыхайся пуще!
Ток пущен!
Вы что, ополоумели?
В сердцах возмущение,
горечь
обиды:
«Еще вот
двое
невинных
умерли,
Нет, не умерли:
УБИТЫ!»
После черных туч
и бури жестоки.
Как не подумали они хотя бы
о том,
Что сажать
народных вождей
за решетки,
Все равно
что черпать воду
решетом!

. . . . . . . . . . . . . . .

Обмякнет, однако,
капитализм-неврастеник.
Хоть и чугунные мускулы,
но погляди:
Имеются приметы
и печать вырождения
На его бронированной груди.

## ДИКИЙ СЛУЧАЙ

*Фантастический рассказ*

Счетовод Всекопромсоюза, гражданин Пугачев, остановился у моссельпромовского лотка, чтобы купить пачку папирос. Когда он вынимал из кошелька, набитого бумажками, серебряную монетку, сзади его послышался выразительный шепот.

— Васька! Следи за этим, видишь — денег сколько.

Пугачев обернулся и обмер: стояли два оборванца и глядели прямо на него. Один был в шапке, другой же без шапки. Невольно отведя взгляд, Пугачев неловко сунул кошелек в карман и, умеряя страх, хлынувший внезапно, как пролитые чернила, зашагал по Краснопрудной. Но шаги против воли становились чаще и чаще, а сердце стало стучать так громко, что его стало слышно сквозь меховую шубу.

Пройдя домов с десяток, Пугачев оглянулся. «Без шапки» шел за ним. Пугачев ясно рассмотрел его полушубок, покрасневшее лицо. Сердце гражданина Пугачева сразу упало в страшную бездну и продолжало лететь, а стука его не стало слышно из-за заполнившего все кровяного шума в ушах. В голове закружились различные мысли: и воспоминание о растрепанной книжке «Защита и нападение», и сожаление о том, что он взял с собой золотые часы. С тоской он оглянулся — «без шапки» все шел. «Господи, богородица! Что же это та-

кое? — подумал Пугачев. — На трамвае разве поехать?» Эта мысль придала ему бодрости. Поминутно ощупывая кошелек, он подошел к трамвайной остановке и встал на платформе. «Без шапки» встал неподалеку. Пугачеву было странно, что пассажиры кругом не обращали внимания на этого человека, и он неприязненно посматривал на заиндевевшее лицо и валеные сапоги оборванца. Но на людях страх утих, и Пугачев твердо решил избавиться от своего преследователя.

Подошел трамвай, набитый до отказа. Пугачев расхаживал по платформе с таким видом, будто 10-й номер его нисколько не интересует. И только когда вагон дернулся, он с неожиданной быстротой бросился к дверце и схватился за поручень. Каким-то чудом он протиснулся в вагон, и там, сдавленный, как под пресс-папье, примятый и беспомощный, он был в восхищении от своей ловкости и безопасности. Но, повернув голову, чтобы отыскать взглядом кондуктора, Пугачев застыл в ужасе: преследователь стоял рядом с ним.

Следующим же движением Пугачева было схватиться за кошелек. «Слава богу, цел!» Достав его и отсчитывая медячки, Пугачев снова взглянул на вора и дрогнул от радости: у вора не хватало денег на трамвай. Пугачев ясно видел медячки на его ладони: три копейки, две и две. Он живо сообразил, что это составляет семь копеек, а не восемь.

— Получите четырнадцать копеек, — торжествующе обратился он к кондуктору, искоса следя за вором.

Теперь он опять его не боялся. Но вор не смутился. Небрежно ссыпав медяки в карман, он преспокойно продолжал оставаться в вагоне.

— Кто не брал билетов, граждане? — провозгласил кондуктор, занятый на другом конце вагона.

Оборванец ни гугукнул. У Пугачева опять заныло в груди. «Как бы это его обличить? — мучительно думал он. — Разве подойти да шепнуть кондуктору? Нет,

неудобно. Скажут: «Вам какое дело?» Как какое? Ведь государство же страдает! Взять и сказать: «Как сознательный гражданин СССР и член профсоюза, не могу допустить, чтобы разные проходимцы крали у государства восемь, а то и одиннадцать копеек». Нет, опять неудобно. Был бы еще партийный, а то нет. Да и «без шапки» рядом. Ему тоже это не понравится. Разозлится хуже еще. Всадит финку в спину — и конец». Вор опять показался Пугачеву темным и страшным человеком. Он глянул в иней окна. Уже проехали Гаврикову улицу. «Надо слезать, — подумал Пугачев, — заедешь еще к черту на кулички. Хуже влипнешь».

Ставя ногу на землю, он опять на секунду обрадовался. «Без шапки», видимо, колебался — слезать ему или нет. Но колебания были недолги — вор спрыгнул. «Господи, богородица, что за дикая история!» — терзался Пугачев и зашагал сквозь темноту по направлению к Гавриковой улице. Чем быстрее он шел, тем меньше он разбирался в этой истории, мучительной, как неразборчивый почерк.

На углу Гавриковой улицы стоял милиционер. Волнуясь, гражданин Пугачев решил подойти к нему, чтобы попросить защиты. Но, подходя, он почувствовал робость. «Как я могу, в сущности, доказать, что он хочет меня ограбить, и что может сделать постовой? — начал он сомневаться. — А вдруг ему покажется подозрительным мой страх. Поведет в милицию, а там начнут расспрашивать: «Откуда у вас такие деньги?» А что он ответит? Не может же он сказать, что удачно реализовал несколько припрятанных золотых десяток.

Пугачев в недавнем прошлом не был скромным счетоводом, в качестве главного бухгалтера он воротил большими делами у своего бывшего хозяина, крупного фабриканта. И кое-что сумел скопить «на черный день». Все это вихрем пронеслось в голове Пугачева, и

его зазнобило. Между тем милиционер остановил уже на нем взгляд.

— Как пройти на Леснорядскую улицу? — спросил Пугачев дрожащим голосом.

— Первая налево, — ответил милиционер и отвернулся.

Но Пугачев медлил уходить.

«Спаси... те», — хотел он сказать, но язык вместо этого выговорил: «Спасибо». Снова зашагал он в темноте. «Без шапки» пошел за ним. Прохожие были так же редки, как фонари, а фонарей не было совсем. Сзади раздавались шаги вора, а внутри стучало сердце.

Пугачев перевел дух, только когда позвонил у квартиры знакомой женщины. Это было в 20 минут шестого. А в половине восьмого он снова спускался по лестнице и снова ощущал ужас при мысли, что вор, может быть, дожидается его. Не решаясь выйти из подъезда, он осторожно взглянул в стекло двери. Так и есть! У ворот напротив торчала какая-то фигура. Страх сдавил Пугачеву грудь с удвоенной силой, он решительно не мог заставить себя выйти в переулок и стоял, волнуясь, в подъезде. Наконец ему пришла в голову мысль взять извозчика. Преодолевая страх, он просунулся в двери и закричал дрожащим голосом:

— Извозчик!

Через минуту по мостовой послышалось характерное цоканье копыт. Пугачев вышел на тротуар.

— В Пушкарев переулок, — сказал он.

— Десять рублей, — отвечал извозчик, запрашивая впятеро. Пугачев не имел сил торговаться. Пролетка понеслась, но страх его не уменьшился.

«Подозрительно, что в таком глухом месте вдруг оказался извозчик, — холодея, размышлял он. — И как он быстро подъехал. Завезет еще куда-нибудь».

Извозчик вдруг поворотил в какой-то переулок.

— Эй, куда ты! — закричал не своим голосом Пугачев.

Извозчик придержал лошадь и повернул к седоку лицо, которое показалось тому бандитским.

— А что, ближе тут?

— Нет, нет! — закричал Пугачев. — Поезжайте по Краснопрудной.

Извозчик нехотя тронул лошадь. При въезде на Краснопрудную Пугачев немного успокоился: все-таки кругом были люди, а самое главное, что вора, этого кошмарного человека, уже не было. «Отстал», — подумал Пугачев и успокоился.

Но около Сухаревской башни его охватило новое опасение. «Заметит, негодяй, дом, обязательно заметит. Кто его знает, все-таки человек подозрительный».

— Извозчик! Слушай, извозчик, — обратился он к вознице. — Ссади меня здесь. Гм. Это я неверно давеча сказал, что живу в Пушкаревом переулке. А живу я здесь вот, на Мещанской. Вон, в сером доме, — неловко врал он.

Извозчик с видимым удовольствием получил свои десять рублей и отъехал. Шагая по знакомым местам, Пугачев все более и более успокаивался. Прошедшее начало ему казаться диким бредом, смешной чепухой. Уже совсем весело нажал он электрическую пуговку у своей квартиры, не торопясь раздеться, сбросил галоши, добродушно повесил шубу на такую знакомую, приятную вешалку и, радуясь, что с ним ничего не случилось, что он благополучно избег опасности, вошел в освещенную комнату.

— Что ты так поздно? — недовольно спросила жена. — Уже половина десятого.

— Не может быть! — ахнул Пугачев. — Я вышел, вышел я...

Он не договорил и полез в карман за часами, но остановился и растерянно посмотрел на жену. Часов не было.

## ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПРОЧИТАННОМ *

* * *

Читаешь книгу «Как работать писателю» и удивляешься: автор старательно объясняет, что слова можно употреблять не в прямом, а в переносном смысле, например: «Темный человек»; что можно сказать: «Я две тарелки съел», хотя едят не тарелки; что можно сказать фразу в виде вопроса, хотя никакого ответа на нее не ждут («Где ты, где ты, отчий дом?»), и т. д., и т. п. Но ведь всякий начинающий писатель, как бы плохо он ни писал, эту-то элементарность знает: и «Темный человек» он напишет, и «Я выпил два стакана» он напишет, и «Где ты, моя молодость?». Так что подобные объяснения излишни. Писатель, прочитав эту книгу, напишет «Кудрявая березка» и горделиво подумает, что «кудрявая» — это эпитет. Что эпитет — это верно, но эпитет, литературно ничего не значащий. А как же сделать его литературно значащим, об этом в книге не говорится. «Чем больше эпитетов, тем лучше», — говорит автор, но сейчас же оговаривается: «Но если подбирать их зря, без нужды и смысла, то от этого написанное станет только непонятней».

В таком плане написана и вся книга. Например, приведем полностью указания автора «как кончать рассказ».

«Окончания рассказа тоже бывают различные. Рассказав развязку, автор иногда высказывает в заключение какие-нибудь мысли, бросающие свет на отношение автора к изображенным событиям. Иногда автор, закончив рассказ, прибавляет к нему в сжатом виде изложение событий, имевших место через некоторое время после конца действия рассказа».

---

* Отрывки из рецензий и литературного памфлета «О мамонтах».

Прежде всего — понятно ли это будет начинающему (деревенскому) автору? Думается, что нет. Но если даже кто и поймет, что это ему даст? Как можно такие окончания искусственно применить к рассказу? Что получилось бы, например, если бы Чехов закончил рассказ «Мальчики» сообщением о том, что Чечевицын окончил школу и куда после этого поступил?

Что сказать о советах молодым поэтам? Собственно, ни советов, ни указаний нет, а есть только объяснения, что такое ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий, цезура, стопа, строфа и т. д.

Хочется спросить: а что, если написать стихотворение, например, правильным амфибрахием, с цезурой во второй стопе и богатыми мужскими и женскими рифмами — будет ли это хорошим стихотворением, или же для искусства нужно что-то еще? А если нужно что-то еще, то об этом и нужно говорить.

* * *

Наконец-то начало выходить полное собрание сочинений Хлебникова. Факт этот сам по себе положительный. Но некоторые критики стремятся, отвоевав себе Хлебникова (где же они были при жизни поэта?), ударить им по своим литературным неприятелям. Признав Хлебникова крупным поэтом и причислив его к лику классиков, эти критики начинают хлестать современных поэтов лучами его ореола.

Раскрываем первый том сочинений Хлебникова и читаем в предисловии:

«Маяковский пользуется результатами достижений Хлебникова (см. «Война в мышеловке»), не использовав его принципов. Он монополизирует лишь один из ритмических (и рифмических) приемов Хлебникова и возводит его в свой основной и однообразный принцип».

Ясна попытка представить Маяковского одним из незначительных эпигонов Хлебникова. Поэзия Маяковского чужда автору предисловия, и потому он не может допустить, что Маяковский и сам крупный поэт, а не вульгарный эпигон.

Казалось бы, что, располагая рукописями Хлебникова, автор мог полнее всех осветить связь Маяковского с Хлебниковым, о которой так многозначительно говорят. Однако он ограничивается вышеприведенными фразами. К сожалению, автор предисловия не одинок. В журнале «На литературном посту» мы находим следующие рассуждения:

«Поэты из Нового Лефа отказываются от задач, стоящих перед современной поэзией (что же это за задачи? — **С. Ч.**). Их прежние достижения в значительной мере предопределены были работами Хлебникова (ранний Асеев, многое у раннего Маяковского). Сейчас и Асеев и Маяковский начали бесконечно повторяться... Со времени выхода «Только нового» Маяковского и «Поэм» Асеева эти поэты не подошли ближе к современной жизни и застыли на прежних своих позициях».

Получается очень простая история: жил Хлебников, а Маяковский и Асеев, заимствуя его достижения, двигались понемножку вперед. Но вот Хлебников умер — и стоп! Маяковский и Асеев дальше не двигаются, застывают «на старых позициях». Здорово!

Но довольно! Тенденция этих «критических» мыслей ясна: лепить гипсовые бюсты Хлебникова и разбивать их о головы современных поэтов. Больше всех, конечно, попадает Маяковскому.

Это дурная тенденция!

Признавая гениальность Хлебникова, необходимо понять, что поэзия Маяковского обладает гораздо большей социальной значимостью, доступностью, простотой.

## О МАМОНТАХ

*Отрывки из литературного памфлета*

Как-то в ненастный осенний день, когда тучи текли по небу, а ветер теребил уши, на розвале, «вместо рубля, за пять копеек», я нашел одну книгу под названием «Маяковский во весь рост». Я купил ее для своей коллекции печатных курьезов. И признаюсь, эта книжка доставила мне живейшее удовольствие. Я нашел в ней такую оригинальную глупость, такую непроходимую пошлость, такое девственное непонимание искусства, что книга по праву заняла первое место среди себе подобных. Мамонты еще не редки в наше время, но они тяжеловесны, любят ученые слова, они надевают на лицо внешнюю доброжелательность к новому искусству.

Автор этой книжки развязен, популярен и откровенен, он решительно написал то, что некоторые мяли во рту, не решаясь высказать, а именно, что поэзия Маяковского — это «шутовство», «хулиганство», «идиотство», но никак не поэзия. Уже одно это делает книгу ценной. «Когда-нибудь, через сорок лет, по этой книге будут изучать психологию мамонтов, — подумал я. — Побережем ее для будущих историков литературы». Каково же было мое удивление, когда я встретил эту книгу в районной читальне, и тогда-то я понял, что писать о ней надо сейчас, а не через сорок лет.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...Итак, вот оно, печальное лицо мамонта, надевшего на себя современную маску. Вот он — отчаянный смех вымирающего животного перед неудержимой лавиной нового. Может быть, он еще не подозревает о своей участи, может быть, он еще думает затоптать север своими копытами — все равно. Да здравствует хрустящий снег, неумолимые льдины, да здравствует северное сияние!

## НАУЧНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ

*Пародия на вечер в Политехническом музее*

В Москве сорок сороков заборов. На каждый из них была налеплена афиша. Афиша гласила:

---

*Большая аудитория Политехнического музея* — *ЧЕТВЕРГ 18 ОКТЯБРЯ*

*НАУЧНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ*

Миллионы людей страдают оттого, что ненаучно выбрали профессию. Трудно ли научно выбрать профессию? Поэт, инженер, киноартистка. Выбор профессии и Шаляпин. Выбор профессии и половой вопрос. Научный конгресс. Бородатая брюква. Как самому научно выбрать профессию?
Доклады делают разные профессора. Среди выступающих Демьян Бедный. Вступительное слово — А. Луначарского.
После докладов демонстрация фильма: «Научный выбор профессии» в 6-ти частях.
Сверх программы комедия.

*Начало в 8 часов.*

---

Людей в Политехническом собралось столько, сколько было афиш. А может быть, еще больше. Сначала часовая стрелка стояла на 8-ми, а минутная на 9-ти. Потом часовая передвинулась на «9», а минутная встала на «8». Несмотря на это, вечер не начинался.

Аудитория, однако, не волновалась. В Политехническом музее аудитория вообще очень вынослива. Люди от нечего делать сидели на своих местах, скатывали

в шарики свои билеты и делились предположениями о вечере.

— Интересно, скажут ли, как узнать, фотогеничное лицо или нет?

— Как по-вашему, кем мне сделаться, поэтом или сапожником?

— Как сказать. Поэтом, правда, легче стать, но зато сапожником выгоднее.

— Любопытно посмотреть Демьяна Бедного!

Минутная и часовая стрелки сошлись обе на 10-ти, когда вечер все-таки начался.

— Луначарский, товарищи, уехал в Ленинград, — мрачно объявил председатель, — и потому вступительного слова не будет. — И сейчас же, не оставляя времени для реплик, быстро добавил: — А говорить сейчас будет заведующий лабораторией по определению профессий при Главном институте.

Заведующий, длиннорукий, но близорукий, выдвинулся вперед и начал уверенной скороговоркой:

— Возникновение лаборатории находится в связи с циркуляром № 000317, каковой, устанавливая в пунктах А, С и Д обязанности административного персонала института, касался в остальной своей части недостаточно подробно, в связи с тем следующий циркуляр № 004816, предусматривая бюджетную смету учреждения, а также в общем и целом, благодаря которому связанные с этим вопросом легли в основании отчетности, были увязаны и разрешены. Циркуляр же № 056832 касался главным образом...

Заведующий прервал на минуту речь и налил из графина стакан воды. Это была роковая ошибка. Если он хотел продолжать говорить, не следовало останавливаться. Обрадованная передышкой аудитория принялась неистово аплодировать. Заведующий сделал попытку возобновить речь, но где там! Публика в ужасе зааплодировала еще громче. После нескольких безрезультатных

попыток заговорить несчастный заведующий принужден был уйти.

— Слово предоставляется профессору Академикову, — провозгласил председатель.

Аудитория ожила. Профессор махнул рукой и начал:

— Научная профессия, профессия ученого требует особых способностей и навыков, навыков, которые необходимы. Какие же способности, какие же, я сказал бы, качества должен иметь всякий выбирающий себе научную профессию, профессию научного работника? Прежде чем ответить на этот вопрос, прежде чем...

— Извиняюсь, — сказал чей-то голос, — но тема вечера не «Выбор научной профессии», а «Научный выбор профессии».

Кто-то засмеялся. Профессор растерянно поглядел на говорящего, посмотрел на афишу, расстеленную на столе, взглянул на часы и выбежал из аудитории. Председатель с сожалением посмотрел на дверь и объявил:

— Слово предоставляется профессору Мухоедову, автору книги «Аналитический метод в жуковедении».

Профессор выполз на эстраду и зажужжал:

— Выбор профессии есть очень сложный вопрос, и решить его может только широко образованный человек. Между тем школы второй ступени дают недостаточную подготовку. В частности же, очень мало внимания уделяется зоологии, а особенно тому ее отделу, который занимается жуками. Жуки разделяются на следующие виды...

В зале раздался страшный шум. Это лопнуло терпение публики.

— Хватит! Довольно! Давайте фильму! Фильму!..

Председатель, немного побледневший и как будто чем-то расстроенный, стал объяснять:

— Вот ведь в чем дело, товарищи. Совкино, видите ли, перепутало и вместо «Выбора профессии» прислало

нам американский боевик «Роковое свидание». Если желаете, можем его пустить.

— Да, да, пустите! — закричала наиболее легкомысленная часть аудитории. Остальные, однако, запротестовали. Шум не утихал.

— Товарищи, успокойтесь, — провозгласил председатель. — Сейчас выступит товарищ Лекторский.

Аудитория на мгновение притихла. Товарищ Лекторский выступил на передний план и, не стараясь скрыть своего превосходства, властным тоном приказал:

— Берите карандаши и записывайте. Сейчас я продиктую признаки, по которым вы можете установить, к какой профессии у вас имеются способности.

Аудитория притихла. Лекторский начал диктовать, и слова его, падая в аудиторию, подхватывались концами карандашей и втискивались в бумагу. Он диктовал:

1. Если вы любите слушать радио. Если вы знаете наизусть таблицу умножения. Если вы дочитали до конца «Цемент» Гладкова, то из вас выйдет превосходный инженер.

2. Если вы любите учить людей, как им следует поступать. Если вы можете часами говорить о том, чего толком не понимаете. И если маленькие дети вас боятся, то у вас имеются способности педагога.

3. Если вы никогда ничего не читаете. Если вы не знаете грамматики и если вам не жалко бумаги, то вам следует стать писателем.

Докладчик умолк и самодовольно посмотрел на аудиторию. Видны были только одни затылки, так как лица склонились над записными книжками.

Председатель, который до того был как будто чем-то встревожен, вышел теперь спокойно вперед и сказал:

— Товарищи! Вечер окончен.

Удовлетворенная публика расходилась.



# «БОЖЕСТВЕННОЕ» БЕЗЗУБОВО

*Так называл Сергей тульское село, в котором он провел много счастливых дней. Здесь, в старом запущенном парке, узнал он притягательную силу живой природы, ее поэзию, очарование. Здесь, среди столетних деревьев, возник замысел первого школьного сочинения на «вольную» тему: «О чем рассказывали старые березы».*

*Деревенские впечатления вызвали к жизни первые стихотворные строки:*

«Красавка» и «Маруся»
Ходили у двора.
Рогатых я боюся,
А в стадо гнать пора.

*В «Божественном» Беззубове написано стихотворение «Губерния бывшая Тульская», где впервые в стихах Чекмарева проявился ценнейший сплав интимной лирики и высокой публицистики. Вместо идиллических описаний близкого сердцу села возникает картина отсталости, хозяйственного запустения, нищеты бедняцких единоличных владений. Он обращается с горячим при-*

*зывом ко всем, в ком бьется «сердце большевика», вырвать «из плена тысячелетий» одну из самых отсталых в прошлом «бывшую губернию» и превратить ее землю в «плодоносное чудо».*

*Из села Беззубова почти ежедневно шли письма Сергея в Москву. Письма-информации, письма-отчеты о деревенском житье-бытье, подробные и обстоятельные (письма были адресованы отцу, человеку деловому и практичному), веселые и озорные, они буквально излучали юмор и жизнелюбие.*

*В Беззубове было написано очень своеобразное стихотворение «Выписка из протокола». Оно впервые публикуется в этом издании. Герой стихотворения представлен здесь не как целостная личность, а разделенный на части: «товарищ Глаза», «товарищ Руки» и «товарищ Желудок». Каждый из них имеет свою точку зрения, свою логику, свое понимание вещей. Товарищ Руки легко обходится без духовной жизни и с подозрением относится к «субъектам в очках» — интеллигентам, которые не могут жить без книг, «залов с экраном», культурного общения. Товарищ Желудок — существо, ограниченное потребностями организма. Взаимное непонимание рождает недоверие, обособленность, нарушает единство целей и устремлений — такова мысль стихотворения. В нем есть детали, характерные для 20-х годов, но его звучание вполне современно.*

---

I

И под звонок
	и под свисток
Рванулся поезд
	на восток.
В такую мглу
	какой восторг

Лететь через мосток!
Блеснет фонарь
        из-за угла,
И мы к нему
        летим стремглав.
Кругом,
        зажмурив солнца глаз,
Спокойно пашня улеглась.
Наш паровоз,
        лети вперед,
Несись
        под гул и скрежет!
Рукой берез
        меня берет
Ночная эта свежесть.

## II

Хлопья пара
        быстро валят,
Тают,
        виснут на сосне.
Плыли искры
        и скрывались
В искривленной
        синизне.
С ближней рощи
        палки-елки
В окна прут
        ежом-ершом.
Темь и ветер,
        елки-палки!
До чего же хорошо!

## III

Светает.
  Едем лесом мы,
Цветам лицо соря.
Глазами
  жгла белесыми
Рязанская заря.
И дым
  за тучку прячется,
И день
  от солнца розовый,
И рощица
  таращится
Ручонками березовыми.
В дыму речушки занесло.
Лечу на чугуне я,
И чудится —
  Узуново
Из-за лачуг виднеется...

## ДАЧНИКИ

Они встают поздно, в 9—10 утра, когда солнце пробежит уже достаточную дугу и образует с землей угол больше сорокаградусного. Впрочем, в этом у них наблюдается некоторое несходство привычек: длинный и тощий Эсча * любит вставать пораньше и наслаждаться благами летней природы (яблоками), старшая сестричка Энча вместе с толстой и неповоротливой Элчей предпочитают поваляться подольше в постельках. А младший Ача удивительно непостоянен: то он спит дольше всех, и его приходится за ноги стаскивать с постели, то вскакивает раньше всех и насмехается над сестричками. Впрочем, наклонность к некоторой насмешливости над

* Эсча — Сергей Чекмарев, Энча — Нина Чекмарева, Элча — Лида Чекмарева, Ача — Анатолий Чекмарев.

проспавшими замечается у них у всех. Даже добродушный Эсча и тот при виде всякого вставшего позже восклицает притворно-изумленно: «Что-то ты так рано!» Остальные же идут гораздо дальше: они поражают жалами насмешек в самое сердце и доводят несчастную жертву до негодования и слез. Однако насмешки не мешают им вставать как можно позже, и они даже придумали для себя два подходящих оправдания: первое — «Когда хочу, тогда встаю» и второе — «Вон Ача встал как-то раньше, да взял да и разбил окно в кухне». Оправдания эти по своей убедительности напоминают купеческое: «что хочу, то и делаю» и «вон соседка отдала сына учиться, а он глаз-то и выколол», а по способу доказательства они похожи на 1) «дуракам закон не писан»; 2) «нет, я не был за границей, но мой брат играет на скрипке».

С самого «раннего» утра (с 12 часов!) у них начинаются дела хозяйственные, которые заключаются в мытье посуды, уборке постелей, подметании пола. Производятся они с такой тщательностью, что занимают по нескольку часов.

Несмотря на то, что все дела, которые попадают им в руки, растягиваются как резина и занимают втрое больше времени, его у них остается больше, чем надо. Целый день в распоряжении дачников! Но они настолько неумело распоряжаются такой дорогой собственностью, что свободное время превращается в какую-то докуку или тяжелое испытание. Весь день они переходят с места на место, слоняются из угла в угол и никак не найдут себе такого места, где было бы и не скучно и можно было бы ничего не делать. Они приехали на каникулы и на дачу, и потому благодаря первому обстоятельству они не могут заниматься умственным трудом, а благодаря второму — физическим. Но как бы то ни было, они все-таки в деревне, и это накладывает свой отпечаток. Голова не работает по-городски, руки не работают по-дере-

венски, но зато желудок работает и по-городски, и по-деревенски. Целый день они ходят, поплевывая окусочками, и если бы сложить количество яблок, которые они поели за лето, то получилась бы астрономическая цифра, вроде объема Солнца или расстояния до Большой Медведицы.

Но при виде их бесцельного ничегонеделания (бывает ничегонеделание с целью, например забастовка) никто бы не сказал, что они не знают, что можно было бы делать. Но день проходит, и они только спрашивают себя: а что мы сегодня делали? И оказывается, что ничего не делали, что время распределили самым бессмысленным образом. И так же проходит второй день, третий, четвертый. Сейчас они прожигают и разбрасывают свободное время, а зимой будут жалеть, что его не хватает.

Тургенев сказал: особенно хорошо бывает тогда, когда даже не замечаешь, скоро ли, тихо ли проходит время. У наших же дачников время проходило особенно плохо: минуты и часы ползли медленно, страшно медленно, в ленивом и утомительном бездействии, а дни, недели летели стрелой, так что не успеваешь их считать.

Вялый и пустой день у них тянется долго-предолго, как тянучка, и, как тянучка, вязнет на зубах так, что приходится насильно отделываться от свободного времени. Но дни, в общем, летят, как камень с высоты. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, так как все ближе осень, школа, учение, а они не только не успели подготовиться и отдохнуть, но все перезабыли и, гораздо хуже — утомились от глупого длительного бездействия.

Так должны проходить тоскливые дни осужденного на смерть, у которого не хватает силы воли для выполнения вполне возможного подкопа. Он в сотый раз начинает его, все на новом месте, и в двухсотый бросает, подстрекаемый ленью и не поддерживаемый волей.

Они уже не могут по-настоящему приняться за дело и к пустому, бессмысленно растраченному времени будут прибавлять новое и новое время, и так до самой осени. Все их уверения и обещания с завтрашнего дня уж обязательно начать заниматься и «физкультурничать» похожи на клятву пьяницы перед рюмкой водки: «Ей-богу, это последняя рюмка. Больше пить не буду!» Но это неправда! Он будет! И дни, тоскливые, однообразные, похожие один на другой как близнецы, но скверные и злые близнецы, тянутся и будут тянуться глупо, лениво и бессмысленно.

* * *

Дорогие москвичи!

Будьте подешевле. Не заставляйте себя просить и упрашивать. И если скука опустится на ваши комнаты, если небо горько заплачет, уткнувшись головой в подушку, и натянет на себя тучи, как одеяло; если сердце вдруг решительно застучит и заявит, что оно не в силах больше терпеть и желает вспомнить о веселом ветре, овсяных просторах, о злобных яблонях, сжимающих кулаки; если слова: «жорес», «жасмин», «рожа» вдруг напомнят вам человека, имя которого составлено из тех же букв,— то возьмите, товарищи, перо и пододвиньте к себе чернильницу.

А я живу хорошо. Картошку мы выкопали, последнюю гречиху достукали и теперь мечтаем о мельнице. Топится горница, дымит самовар, солнце доедает последнюю тучу. В общем, очень весело и вкусно. Пришлите мне мое пальто. Мне на днях придется ехать в Узуново с хлебом. Надеюсь, вы догадаетесь завернуть в пальто что-нибудь такое интересное, например последний номер «Советского фото». А также выпишите газету, одну-единственную газету, откройте хоть на минуту «окно в Европу».

Письма ваши от 13-го получил.

Только вот обида
Сердце мне сломала,
Что сестрица Лида
Написала мало.
А братишка Толечка
Написал вот столечко...
Я живу в провинции.
Ветер в окна тычется.
По какой провинности
Вы мне мало пишете?
Ах, сердитый запад,
Дорогие тучки!
Перестаньте капать,
Бросьте ваши штучки!
Ведь живут же граждане
С письмами, с газетами, —
Мне недели кажутся
Иксами и зетами...
Лети же, сердце, в дальнее
За Гурьево, за Крытово,
Останусь в ожидании
Тяжелого «закрытого».

Посылаю для вашего «Метеора» (пусть он будет теперь вашим) передовую статью и небольшой рассказ.

**ДАЕШЬ «МЕТЕОР»!**

После полуторагодичного перерыва «Метеор» как будто бы снова хочет показать все перья в своем хвосте. Опять потянется старая история с материалами, которых никто не хочет доставлять, и опять с прежними вечными отговорками. Поэтому лучше, рассортировав эти отговорки, ответить на них раз навсегда, чтобы отлыниватели были принуждены выбирать: сочинять ли новые отго-

ворки или материал для «Метеора»? Не берусь судить, что окажется легче.

**«Не для чего писать».** Для чего человеку нужны глаза? Странный вопрос! Глаза помогают нам во всем: ходить, пить, есть, шить, писать, учиться, вообще работать. И только? Нет, не только. Никто бы не согласился лишиться глаз, даже если бы ему гарантировали, что он сможет по-прежнему работать, ходить не спотыкаясь, узнавать встречных и т. д. Это потому, что само по себе «смотрение», хотя бы бесцельное, — есть удовольствие. Я сейчас вижу небо, облака, крыши, антенны... Зачем мне все это, разве это помогает мне работать? Но странно было бы предполагать лишиться всего этого. Точно так же странно спрашивать, для чего человеку нужно умение владеть словом, умение писать доклады, стихи, рассказы. И вот почему. Громадную пользу умения писать отрицать никто не станет. Этому учат и в школе, и в ячейке, и на заводе, этому учат и детей и взрослых. Но для чего нужно умение писать стихи, рассказы? «Детская игра, несерьезное занятие», — так ответите вы.

Умение писать рассказы дает умение передать разговор, описывать события, характеризовать людей, передавать впечатления, настроения, наблюдения и т. д., и т. д. Это умение чрезвычайно важно для ведения дневника и для писем. Сколько приходится писать писем! А «здравствуй», да «прощай», да «пришли вязаные чулки» — это ведь не письма. Эти же навыки пригодятся и для устной речи — умение ярко и занимательно рассказывать.

А умение писать стихи, фельетоны — это для чего? Всякому из нас, кем бы он ни был, придется, вероятно, вести культурную работу, а большую роль в культработе имеет стенгазета. А большую роль в стенгазете играют именно стихи, фельетоны. В наше время, когда стенгазета имеется всюду — в школах, вузах, фабриках, учреждениях, казармах, селах, — когда в стенгазетах пишут

малообразованные люди, когда имеются сотни тысяч рабкоров и селькоров, умение хорошо писать в стенгазете чрезвычайно важно.

Человек, владеющий словом, получает еще и другую выгоду. Вполне понятно, что хороший ход способен как следует оценить только шахматист, хороший удар ногой — только футболист. Так же и литературное произведение может вполне оценить только тот, кто знает технику рассказа, стиха и умеет писать сам. Умение писать дает и умение читать.

Таким образом, главная задача журнала «Метеор» ясна. Это учебная тетрадь для работы над словом, и она важна не меньше, чем всякая тетрадь по физике или математике, а в жизни многих людей (не научных работников), пожалуй, сыграет бо̀льшую роль, чем, положим, физика.

Но у «Метеора» есть и другая задача — быть стенгазетой. «О ты, великий лирик», «Что за праздник», «Работницы», «Бутон», «Крым», «О Бутонке, который был тонкий», «Дачники», «Письма», «Для чего?» — это все от стенгазеты, и притом живой и занимательной. А разве не весело и не полезно издавать стенгазету?

Имеется еще третья, маленькая задачка — журнал должен стать полезной книгой, распространяющей полезные сведения: как спрыгнуть с трамвая? Почему при вращении вода из ведра не выливается? Что такое бешенство? Почему при ветре холоднее? Это все могут спросить у вас, как у «образованных», на каждом шагу.

И наконец, четвертая, побочная задача — научиться рисовать, подбирать иллюстрации, это также немаловажная задача.

**«Писать не о чем...»** Как — не о чем? Это бессмысленная постановка вопроса. Если вы говорите, что не о чем писать, то подумайте, что должно случиться, чтобы было о чем писать. Землетрясение? Пожар? Убийство? Так ведь вы не напишете, если это случится, ей-богу, не на-

пишете! Про такие вещи очень трудно писать. А если думаете, что напишете, — предположите, что случилось, и катайте! Но к делу. Нет тем, вы говорите?

А ваши письма ко мне, в которых бы рассказывалась ваша жизнь в деревне — в стихах ли, в прозе ли, — разве не тема?

Ваш «дачный бытик» с 11-часовым сном, боязнью физического труда, упражнений, скукой, мелочными спорами (из-за места!) — разве это не тема? То, что вы видите вокруг — природа (только не «травка зеленеет, солнышко блестит»), крестьяне, деревенские разговоры, обычаи, — разве не тема? Праздники (Парижская коммуна, Октябрьская революция), политические события (разрыв с Англией, убийство Войкова) — разве не темы?

Чрезвычайно полезно было бы излагать свои мысли по поводу прочитанных книг (Андреев, Диккенс, Безыменский, Маяковский, Синклер) — отдел рецензии.

Наконец, может, вспомнив старое, приняться за стихи о «Бутонке», изобретать способы полетов на Марс — тоже ведь полезно.

**«Хотим писать, но не выходит».** Как это? И есть о чем писать, и нужно писать, а не выходит? Ведь это смешно! Вот для того чтобы устранить такое трагикомическое положение, и надо издавать «Метеор», не то еще смешнее будет, когда в такой тупик встанет взрослый человек! Пока еще нечего бояться этого неумения. Ведь если предложить вам сделать стол, вы не сумеете, а выучиваются же люди. Но надо помнить, что, не входя в воду, плавать не научишься, и поэтому лезьте смелей! Утонуть не утонете, а плавать в конце концов выучитесь. Если сначала выходит плохо, — ничего, авось не на выставку.

**«Некогда».** Такая постановка мне кажется несколько рискованной для вас. Чья бы корова мычала, а чья бы

молчала. Уж у кого у кого, а у вас время так бессмысленно организовано, так много его пропадает зря, без всякой пользы или удовольствия, что трогать этот вопрос далеко не безопасно. Весьма возможно, что при таком диком распределении времени у вас и не хватит его на «Метеор» (я имею в виду зиму, летом должно всегда найтись время). Но попробуйте (обязательно сначала установив, как вы проводите время) построить его целесообразнее — не с большей нагрузкой, а целесообразнее, — и вы, я твердо уверен, найдете время для двух «Метеоров».

## ВИКТОРИНА

*Картинка с натуры*

К стенке избы-читальни села Гурьева мукой была приклеена афиша:

*ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ!*

Приехавший из города Венева кружок безбожников устраивает в понедельник, 24 декабря, в 7 часов, в селе Косяеве, в здании школы

*Грандиозную викторину-базар*

«НАУКА ИЛИ РЕЛИГИЯ»

*За лучшие ответы будет выдана ценная премия — САМОВАР.*

Председатель
Веневского кружка безбожников
Д. Трехсвятский

Яков Калинкин прочел афишу и в раздумье остановился.

— Что же это, Павлович, за базар будет? — обратился он к подошедшему крестьянину. — Самовар, что ли, будут продавать?

— Не знаю. Сказывали, что задаром дадут самовар.

— Задаром? Как же это так? И кому же это?

— Не знаю, приходи — увидишь.

И Калинкин пришел.

— Товарищи, считаю вечер открытым, — сказал председатель, с удовольствием оглядывая битком набитую избу. «Что я говорил? — шепнул он секретарю. — Успех, громадный успех!..» — Приступаю к чтению вопросов. Первый вопрос: «Из какого языческого празднества создалось христианское рождество?» Кто желает ответить, прошу поднять руку.

Председатель обвел глазами собрание. Ни одна рука не поднялась. На всех лицах выражалось недоумение.

— Вто... второй вопрос, — продолжал председатель неуверенно: — «Какой обряд у древних египтян соответствовал нашей пасхе?» Кто хочет ответить, прошу поднять руку.

Все молчали. Председатель отер пот.

— Попроще, попроще чего бы... — зашептал секретарь.

— Третий вопрос: «Какие элементарные предписания гиги... Какой вред может произойти, когда целуют иконы и кресты?»

Председатель с отчаянием оглядел аудиторию. Вдруг один из сидящих на задней скамье кашлянул и несмело поднял руку. Надвинутая на глаза шапка и густая черная борода почти целиком прикрывали его лицо.

— Говорите, говорите, — обрадовался председатель.

Все головы повернулись к бородачу.

— Такой вред, — отвечал тот, вставая, — что если к кресту приложится сперва больной, а потом здоровый,

то и здоровый очень просто может заболеть. Зараза — она прилипчивая.

— Правильно, — поддакнул кто-то из сидящих.

— Верно, — одобрил и председатель. — Молодец! Четвертый вопрос, — продолжал он уже спокойнее: — «Отчего бывает гроза и какие атмосфе... и верно ли, что в это время Илья-пророк катается на колеснице?»

Теперь председатель уже прямо смотрел на бородача. Тот опять поднял руку.

— Нет. Гроза бывает от электричества, которое сидит в тучах, а про Илью-пророка все это выдумки.

— Верно, — похвалил председатель и уже задал следующий вопрос.

Только на три вопроса не сумел ответить бородач, но зато по остальным разъяснил все вдумчиво и основательно. Другие крестьяне слушали его внимательно, но сами ртов не раскрывали. Премия, конечно, была присуждена бородачу.

— Получайте, товарищ, — сказал председатель, передавая ему сияющий самовар. — Очень приятно, что вы так хорошо разбираетесь. Вы из какой деревни?

— Из Клемина я, — глухо ответил эрудированный безбожник и сейчас же заспешил к выходу.

Председатель хотел было попросить его организовать в своем селе кружок безбожников, но махнул рукой и отправился восвояси. Мероприятие было проведено удачно, и можно было этим удовлетвориться.

Крестьяне группами расходились по своим деревням.

— Цари небесные, — сказал Калинкин, пересекая дорогу, — вот это фунт! Так и режет, так и режет... Чей это такой мужик, я не разобрал, а будто бы и впрямь видел я его в Клемине.

— Не знаю, — отвечал один из спутников, — вроде как бы и я его видел где-то.

— Кого это? — спросила подошедшая старуха.

— Да вот мужика этого, самовар которому дали.

— Мужика? Аль ты не узнал? Да это клеминский батюшка!

— Какой батюшка? — обалдело спросил Калинкин.

— Вона! Аль не знаешь? Он уже давно тут. Он и у нас теперь будет служить.

— Вот оно что, — со злобой сказал Калинкин. — Нет, врешь, он у нас не будет служить... Илья-пророк, говоришь? Крест целовать? Ах он зараза!..

И Калинкин сплюнул на дорогу.

Мужики пошли дальше, оживленно беседуя.

* * *

Дорогие горожане!

Посылку вашу получил, но больше, чем колбасе и шпротам, обрадовался я газете, в которую все это было завернуто. Только из нее я узнал, что английские горняки еще не сдались. Дело в том, что «Рабочая газета» мне больше, неизвестно почему, не доставляется. Уладьте это как-нибудь. Я решительно не знаю, как я буду здесь жить без газеты...

Неужели нельзя подписаться ни на одну газету? Как же жить без газет, календаря и часов? Я потерял всякое представление о времени. Несмотря на то, что сейчас двенадцатое сентября, я живу в августе, потому что здесь нашелся комплект газеты за август. Я читаю эти газеты от строки до строки...

Ах, сердитый Запад!
Дорогие тучки!
Перестаньте капать,
Бросьте ваши штучки!
Ведь живут же граждане
С письмами, газетами...
Мне недели кажутся
Иксами и зетами.

Сейчас идет дождь, намазывается на подошвы дорога, скрипит колодец и тянется какой-то осенний месяц.

Дорогие москвичи! Как у вас там живется, ходится, делается? Так же ли тускло у вас непротертое солнце, так же ли часто закат заглядывает в окно? Громко ли стучит ваше сердце?

Вот на какие вопросы хотел бы я получить ответы.

Жаль, мне не придется быть на вечере Маяковского; жалею не столько о стихах, сколько о докладе. Если будете на вечере, то прошу вас — запомните, что он будет говорить, и, придя, запишите в общих чертах. Можно бы и мне поспеть к 26-му, но я по разным причинам должен подольше пожить в деревне.

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

(Председатель тихим голосом говорит,
заканчивая речь.)
«...Оставаться ли здесь
на осеннее время?
Ехать ли в понедельник?
И так, товарищи,
жду выступлений,
Но только серьезных и дельных.
В первую очередь
слово «за»
Имеет товарищ Глаза».
Товарищ Глаза
поднялся,
Надел очки
иначе,
Оглядел голов
бушевавшую кашу
и начал:
«Господа!
Я люблю ходить в кино,
Чувствовать ветер времени.

Неужели же мне
навек суждено
Оставаться
в этой деревне?
Я разные книги люблю читать,
Особенно
за обедом.
Я, может быть, странен,
Может, чудак.
Но книга,
которая начата...
Да что говорить об этом!
Ведь там —
в витринах
книги!
Стихи!
Очки,
сверкай
от восторга!
Быть может,
там солнце
«Кросс Кодитри»
Спорит с Сириусом
«Пушторга».
Быть может, уже
земля на оси
Ближе к солнцу повернута!
Теория
относи-
тельности
Уже давно опровергнута!
Быть может,
над миром
уже шелестит
Какое-то новое знамя!

А мы тут
спим от шести до шести.
А мы —
ничего не знаем.
Что же тут делать?
Считать ворон?
Глядеть на плетни
и избы?
А там —
огни с четырех сторон.
«Измы»
лезут на «измы».
Как можно спорить
об этом вопросе?
Конечно же,
брать билеты.
Я буду не в силах
вынести осень.
Довольно с меня и лета».
Глаза замолчал.
Шорохи,
стуки.
В зале —
глухое брожение.
«Дальше
имеет
товарищ Руки
Слово
для возражения».

«Почти рыдая
на нашей груди,
Играя
словами всякими,
Много оратор
нагородил

Чуши и поросятины.
Во что же
сердце его влюблено?
Посмотрим-ка:
книги разные...
Какие-то «измы»...
«Пушторг»...
Кино...
Витрины...
Знамя...
(конечно, не красное!)
И все!
А сельские зори,
бьющие в стекла?
А солнце,
сверкающее
сквозь ставни и скважины?
Или это глупо?
Дико?
Блекло?
Не интересно?
Не нужно?
Не важно?
А пахота, сев,
а уборка хлебов?
А запах свежайшего
сена?
А тучное стадо
кормилиц-коров?
Неужто все это
не ценно?!
Знаем мы этих
субъектов
в очках!
Они —
без изменения!

Прошу
гражданина
не валять дурачка
И выслушать
общее мнение».
Оратор садится,
и сразу, как дождь,
Организованный
ливень ладош.
А в это время,
расправив плечи,
Товарищ Желудок
готовится к речи.
«Вам, товарищи,
хочется смеяться,
Что вот, мол,
дядя вылез —
Говорить о сметане,
о мясе,
Об арбузах навырез.
Ему, дескать,
лишь бы
лакать молоко.
Да кушать
яблоки имени Антона,
И нет ему дела
ни до чего.
Ни до Парижа,
Ни до Кантона *.
Но это,
милые граждане,
ложь.
Отчего же?

* Намек на речь тов. Мозжечка о международном положении, произнесенную в начале собрания. (*Примеч. С. Чекмарева.*)

Я тоже романтик.
Я тоже хочу
человеческий лоб
улучшить
И сделать громадней!
Но каждый
из нас —
Лишь частица мира
и должен
знать свои роли.
Организму
нужно
столько-то
жира
И столько-то
граммов соли.
Вы думаете,
что все это шутка?
Может, самый вопрос этот
низмен?
Однако
если бы
не было желудков,
Не было бы
книг о материализме!
А сколько коварных
у меня врагов!
Аппендицит,
холера,
тиф,
катар...
Разве все эти подлецы
Не хуже нашествия татар?
Но вот, представьте:
я живу...

Цветы горят...
и мир чудесен...»
(Голос председателя:
«Довольно! Хватит!
Говорите по существу».)
«— Э... э... э...
остаться здеся».

Оратор умолк.
Разговор
прекращен.
Начинается голосование,
И возбужденное
зарево щек,
Губ кричанье
и рук securityанье.
Однако как действуют
на умы
Горошинки
шуток
и смеха.
Большинством —
одиннадцатью
против семи
Постановили:
«НЕ ЕХАТЬ!»

## ГУБЕРНИЯ БЫВШАЯ ТУЛЬСКАЯ

От наших авто шумящих,
От нашей природы тусклой
Ты скроешься в самую чащу
Губернии бывшей Тульской.

О синий такой, морозный,
Родины нашей запад!

По лесу ползущий росный,
Березово-смольный запах.

Тебе покажется диким
Это небо, рябое, в звездах,
Эти липкие лапы гвоздики,
Этот крепкий сосновый воздух.

Как вылетевший из пушки,
Ты ходишь, кругом озираясь:
Кривые, глухие избушки...
Растущая зелень сырая...

И рядом, торчащая странно,
Сухая погибшая ветка
Зияет у леса, как рана,
Как след топора человека.

Где же он сам, властелин природы?
Уж не в этих ли черных лачугах?
Почему его огороды
Не цветут плодоносным чудом?

Почему его урожаи
Не вонзаются в неба глуби?
Что посевам его угрожает?
Кто его луговины губит?

Рождает наш век двадцатый
Много мыслей и дел высоких,
Отчего же вот здесь, за хатой,
Деревянные живы сохи?

Ведь не всё же, не всё же, не всё же
Уперлось корнями в века.

Ведь бьется ж под чьей-нибудь кожей
Сердце большевика!

Не все же, не все же, не все же
У тысячелетий в плену.
И тянет рябиною свежей
К раскрытому настежь окну.

Для тебя эти гроздья пылают.
Недаром же сквозь жилет
У тебя, как заря, как пламя,
Горит комсомольский билет!

Я знаю: его не потушат
Ни бури, ни оползни гор,
Ты пальцы сцепи потуже
И грозный начни разговор.

...Цветущее поле колхоза,
Хозяйские руки и счет,
На солнце играя, глюкоза
По тульским стеблям потечет.

По диким, пустынным трактам,
Где недавно лишь топал мамонт,
Пройдет, громыхая, трактор,
И рожденные скажут: «Мама».

Картофель, полней под землею!
Подсолнухи, хмурьтесь от света!
Невиданной всходит зарею
Огромный зрачок человека.



## ИТАК, ВОРОНЕЖ!

*Осенью 1929 года, после третьей неудачной попытки поступить в вуз, Сергей приезжает снова в Беззубово. Этот год был назван годом великого перелома. В советской деревне происходили коренные изменения — она становилась на путь коллективизации. До этого времени Сергей не испытывал особенного интереса к сельскому хозяйству. Его стремительно развивающийся интеллект требовал духовной пищи. И именно поэтому он и не помышлял о пожизненной работе вдали от культурного центра. Но сейчас, когда в стране ощущается острая нужда в специалистах сельского хозяйства, он принимает неожиданно для самого себя решение — ехать в Воронеж и поступить там в сельскохозяйственный институт.*

*Итак, Воронеж! Этими словами начинается новый период жизни Чекмарева — период интересный, содержательный, но связанный с существенными трудностями. Институт организовал на первом курсе дополнительную группу студентов. Сергея приняли в эту группу, но без стипендии и общежития. В городе нет ни родных, ни знакомых. С трудом нашел он где-то на окраине*

*жилье, а в Москву отправлено письмо: «Надо продержаться до нового учебного года. Продайте мой фотоаппарат, мое пальто, прохожу и в куртке».*

*Сергей безгранично счастлив! Наконец-то он может получать систематические знания, и вместо «одинокого абажура настольной лампы» — лекции, практические занятия, лабораторные работы, содержательная студенческая жизнь, «наполненная смыслом и весельем». Что касается трудностей и бытовых лишений, то они представляются ему несущественными, не заслуживающими внимания.*

---

* * *

Раз у меня есть свободное время, я должен объяснить все по порядку. Итак, Воронеж. Сдав вещи на хранение, поехал я в институт. Сверх ожидания документы у меня приняли весьма любезно, и не успел я опомниться, как очутился в кабинете ботаники. Таким образом, прямо с поезда я попал в объятия хламидомонады. Экзотические листы учебников зацвели передо мной.

Оказывается, здесь организовали дополнительную группу, и от этой последней я отстал немного.

Труднее обстояло дело с квартирой. Общежития мне не дали. Почему? Потому, что свободных нет в природе. Пришлось разыскивать квартиру в городе. В незнакомом городе, вечером, это оказалось делом нелегким, тем более что Воронежское «МКХ» произвело недавно перенумерацию домов. Так и скакал я от старого дома девять к новому дому девять, пока не утомился бесплодными поисками.

На следующий день я все же снял комнату. Вернее, не комнату — комнаты дорогие, — а часть комнаты. До трамвая ходьбы пятнадцать минут, и на трамвае езды — пятнадцать копеек.

Что пока я могу сказать вам о Воронеже?

Местность тут гористая, неровная, улицы, чуть не взвизгивая, летят вниз. Часто среди улицы возвышается лестница. Институт расположен примерно так же, как и Тимирязевка. Представьте вместо Каляевской улицы — проспект Революции, вместо Бутырской — улицу Ленина, вместо 12-го номера трамвая — 5-й, и иллюзия будет полной.

* * *

Берусь за письмо с трепетом: опять вы будете обвинять меня в том, что я долго не писал. Не ходили ли вы опять гадать на картах? В таком случае вы должны знать, что бубновая дама угрожала мне пойти на d2 (неминуемый мат!), а трефовый король требовал от меня зачета по физике. Он и сейчас еще его требует, и потому письмо мое не будет особенно длинным. Да ему и незачем быть длинным: скоро я заявлюсь к вам собственной персоной. Каникулы намечены у нас с одиннадцатого по двадцать шестое. Как видите, недалеко, и если я пишу это письмо, то единственно затем, чтобы показать, что я еще существую, что я еще жив и что трефовый король не смог еще принести мне никакого вреда. У меня настроение самое радужное, и его омрачает только одна фраунгоферова линия: это пропавшая посылка. Не прошу вас писать, потому что надеюсь, что письмо уже находится в дороге. Что вы все тоскуете, что нечего писать? Не обязательно письма должны быть начинены бомбами. Неуловимый строй речи, знакомые закорючки букв, еле слышимый аромат души — вот что должен нести в себе четырехугольник белой бумаги.

* * *

Вчера получил вашу тревожную открытку. Какой ужас! Две недели не было от меня писем! Чем объяс-

нить такое жуткое молчание? Очень просто, товарищи: тем, что преподаватель физики очень непонятно излагает учение о свете.

* * *

В переднем углу моей комнаты, там, где обычно вешают иконы, висит картина с тремя огромными рыбами. Комнаты пустынны, товарищи все разъехались. И когда вечером солнце бросает фиолетовый отблеск и сумерки окутывают окна, я кажусь сам себе необычным. Мне кажется, что я дикарь, рыбопоклонник, что лишь странная случайность привела меня в эту комнату. Мне хочется бежать по берегу и кричать и вытатуировать на груди формулу динитробензола. «Нет бога, кроме рыбы», — бормочу я, сажусь к столу и составляю конспект по политэкономии.

Дни текут оживленно. Я сейчас старательно выпрашиваю отпуск в Беззубово для помощи нашему колхозу. Казалось, что вопрос разрешится со дня на день, по этой причине я и не писал вам так долго. Но время шло, а дело стояло, и я наконец пишу письмо, не узнав результатов.

Деньги я получил. Увы! Немного от них осталось. Завтракаю я теперь постоянно в столовой института и приобрел скверную привычку съедать по два завтрака. Завтрак стоит пятнадцать копеек, и очень вкусный. Дают макароны, рисовую (гречневую, пшенную) кашу с подсолнечным маслом. Мало того, я и за обедом беру либо два первых и одно второе, либо два вторых и одно первое. Первая комбинация обходится в пятьдесят копеек, вторая — пятьдесят пять.

А теперь, друзья, откинем все расчеты и побеседуем запросто перед листом белой бумаги, за чашей чернил. Много вопросов осталось между нами невыясненных и слов невыговоренных.

Вы не знаете, на левом ли берегу стоит Воронеж или на правом. Вы не знаете цвета глаз воронежского неба. Вы не знаете, наконец, села Сабуровки. Давайте поговорим хотя бы о Сабуровке.

Итак:

Среди необозримого снега и неба, в двенадцати верстах от районного центра, высятся кирпичные избы и возвышаются трубы. Трубы не трубят, они дымят. Сто семьдесят дворов построились шеренгой в один ряд, встречая меня — командира азбуки. Вьюга молодцевато прокричала свое приветствие. Так я приступил к исполнению своих обязанностей.

Мне предстояло обучать две группы: группу неграмотных (двадцать три человека) и группу малограмотных (сорок пять человек). Обе группы занимались уже по два месяца. Кроме того, под моим наблюдением были ликпункты в Мосоловке, Андреевке, Мальцевском и Апраксинском совхозах.

Первым моим недоуменным вопросом было: что делали до меня предыдущие «ликвидаторы»? Первая группа, как я уже сказал, занималась два месяца. Однако читает она на восьмой странице букваря, и читает так: «пыашыу пыар — пашу пар». Если же слово новое, то его прочитать никто не в состоянии. Вторая группа (малограмотных) читала недурно, но зато страдала другим недостатком: не понимала того, что читает. После того как мы прочли несколько раз коротенькую статью, я остановился.

— Скажите теперь, о чем тут шла речь?

Молчание и все признаки ужаса.

— Ну?

— Мы этого не можем.

— Будем отвечать на вопросы. Ну, отчего, например, лошади иногда болеют животом?

Молчание.

— Скажи-ка ты.

— Сырой водой поят.

Это говорит парень лет двадцати.

— Вот как! Так, по-твоему, лошадей надо кипяченой водой поить?

Смех.

— Ну прочитайте еще раз, и тогда ответите.

Головы уткнулись в книги. Теперь внимание направлено на смысл статьи. Через пять минут загадка разрешается: лошадей кормят перед тяжелой работой.

Что сделал я? Первую группу я решительно согнал с букварей и посадил на разрезную азбуку. Она стала хорошо складывать слова. Буквари же мы использовали для хорового чтения и чтения тех фраз, которые мы могли складывать по разрезной азбуке.

Со второй группой я пошел дальше и начал приучать ее к сознательному чтению. После каждой статьи обязательно вопросы, повторение, пересказ и т. д. Таким образом мы прошли темы: ликвидация неграмотности, пятилетка и колхозное строительство.

Вот о колхозном строительстве.

Как в Сабуровке обстояло дело с колхозами? Еще до моего приезда здесь была некая бригада, которая, пользуясь недопустимыми способами, добилась стопроцентной коллективизации. Как только бригада уехала, сейчас же посыпались заявления о выходе из колхоза. Их долго держали не разбирая, надеясь, что как-нибудь обойдется. Не обошлось.

Мы объявили недействительной прежнюю запись и начали в колхоз записывать снова. О неправильных действиях бригады говорили мы на собраниях, в стенгазете. Мы ходили по дворам и по часу, по два беседовали с крестьянами. К моему отъезду вновь записалось в колхоз сорок пять дворов.

Еще что: поставили мы три спектакля. Выпустили два номера стенгазеты. В первом номере были статьи: «О бригаде», о кулаке, зарезавшем теленка, о комсо-

мольце, ходившем на крещение за святой водой, и т. д., и т. д. Стенгазета пользовалась большим успехом. Вскоре после выхода на одном из собраний ее сорвали со стены и изорвали. Второй номер был посвящен исключительно строительству колхозов. Была большая статья «Что говорят о колхозе», разоблачавшая вражеские слухи и сплетни. Когда я уезжал, стенгазета была еще цела.

Вот и все. Да, как я там устроился? Очень хорошо. Жил, как в сказке, у старика со старухой. Ел блины, пил молоко.

* * *

Это письмо вам передаст «ревизионная комиссия». Я жил спокойно, тихо и чинно, как вдруг гроза повисла надо мною. Корзины были вскрыты, их образцовый беспорядок нарушен, кипы белья начали летать по комнате, пуговицы вдруг приросли к брюкам. В общем, ревизия окончилась благополучно. Правда, были обнаружены некоторые мелкие злоупотребления, как, например: деньги, ассигнованные на покупку блюдечка, были злостно растрачены, а блюдечко было показано как купленное. Больших преступлений, однако, не оказалось, и «ревизионная комиссия» осталась мной довольна. Я познакомил ее с Воронежем, сводил в кино, угостил обедом в студенческой столовке, показал Большой театр, Дворец труда, памятник Петру Первому и прочие достопримечательности Воронежа.

Теперь скажу о письмах. Не по злости и не по врожденной испорченности не посылал я вам писем. Вы, может быть, думаете, что я сижу мрачно в углу, грызу карандаш и обдумываю способ, как вселенную стереть в порошок, а самому остаться живым. На самом же деле я человек очень добродушный и писать письма даже люблю. Но что поделаешь, если времени нет. Ваши письма благополучно получил. Толя! Мне чрезвычайно

понравилось твое стихотворение. Не то, которое было в предыдущем письме, а последнее:

Где-то далеко,
        на юге ль, на севере ль,
Не то в Воронеже,
        не то в Рязани,
Жил-был студент
        с небольшими серыми
Не то очками,
        не то глазами...

В нем не нужно изменять ни одного слова, на что уж я в этом отношении придирчив. Ты хотел прислать мне еще стихи — присылай, пожалуйста. Справедливость, однако, требует сказать, что твое предыдущее стихотворение нельзя назвать хорошим:

Лектора слова ловя на лету,
Словно лава львов мясо (!).

Скучна игра с созвучиями, за спинами которых не прячется мысль.

Увы! Я уже бросил писать стихи, или не бросил, вернее, а уронил. Теперь я по магазинам ищу не Кирсанова, и не Сельвинского, и даже не Вл. Вл., а «Зооветминимум», «Организацию труда в колхозах», «О ликвидации кулачества». Я болен страстью к этим книгам. Скучные, серые брошюрки вдруг наполнились для меня жизнью и кровью.

Как вообще идут у вас дела? Видели вы говорящее кино? И так далее, и так далее, до бесконечности.

* * *

Сегодня мы должны были выехать на сев в соседний совхоз, но пошел дождь и оставил нас дома. Дома у нас хорошо: нам дали квартиру из двух комнат. Мы устроили коммуну — нас пять человек, — обобществили про-

дукты, распределили обязанности. Только вчера я вернулся с табора, где жил среди волов пять дней, а спал в кибитке. Как сказано уже, живем хорошо. А раз хорошо — чего же писать?

## ДЕРЕВНЕ

Пылают печи
Борьбы горячей,
Но, сдвинув плечи,
Деревня плачет:
— Была без ситца,
Была босою,
Но жаль проститься
Мне с косою.
Менять ли росы
На гуды города?
Ах, косы, косы,
Девичья гордость!..
Глаза не мучай,
Не плачь, деревня,
Еще ведь лучше
Цветут деревья.
Взгляни косыми,
Поправь косынку,
Взамен косы мы
Дадим косилку.
Взамен коняги
Дадим мы трактор,
Начнут овраги
Дымиться травкой.
Стань на пригорье,
Надень передник,
Мы перегоним
Самых передних.
Так бей же метко,

Иди же ходко,
Пятилетка —
Четырехгодка!

* * *

Позавчера я получил письмо, где вы опять упрекаете меня в том, что я мало пишу.

**Часть вступительная.**

Дорогие товарищи! Я написал вам столько писем, что ими можно было бы оклеить всю дорогу Москва — Воронеж.

Я истратил столько чернил, что их свободно хватило бы вам умыться, а из карандашей, которые я исписал, можно было бы сделать хорошую палку, которой бы и следовало вас отколотить. Вас больше, и вы, однако, пишете мне меньше. А что буду писать я? Вот я опять уселся в Воронеже..

**Часть поэтическая.**

Вот я уже и расстался с полями, с красно-рыжими зорями, с ветром, с запахом конюшни. Расстался с деспотической усталостью, которая не позволяет ни рассуждать, ни говорить и которая вечером руками прижимает голову к подушке и пальцами закрывает веки. Я уже не слышу теперь криков «цобе» и «цоб», не вижу печальных воловьих морд, их пенистых, как крем-сода, губ. Воронеж снова охватил меня всеми своими улицами. Что же теперь будет дальше?

**Часть информационная.**

До пятнадцатого июня у нас будут продолжаться занятия. С пятнадцатого июня начнется лагерный сбор. Он продолжится полтора месяца, а затем, то есть с первого августа, нам будет предоставлен отпуск. В пер-

вых числах августа мы, следовательно, встретимся. Но пока я загружен по уши.

**Часть научная.**

За эти сорок дней, с пятого мая по пятнадцатое июня, мы должны пройти зоологию и паразитологию, физиологию и анатомию, диалектический материализм, органическую и аналитическую химию. Сейчас я изучаю червей — феерию пышных латинских названий, обозначающих гадость одну хуже другой. Диботриоцефалюслятус — что за дикое слово, не правда ли? Или вот еще красивое сочетание: дипиллидиум канинум. Знаете ли вы, что это такое?

**Часть практическая.**

Но довольно, не буду вас расстраивать. Коснусь лучше некоторых экономических вопросов. Вы пишете относительно посылки. Думаю, что маленькую посылку сколотить было бы не лишним. Жду от вас вестей. Толя! По приезде обнаружил твою открытку (Чекгей Сермарев), в которой ты обещаешь прислать тетрадь и трехверстное (3,21 километра) письмо. А где же они?

**Часть вопросительная.**

Лида! Получила ли ты мое письмо от 4-го? Как твоя практика? Нина! Пришли мне хотя бы выписку из ресконтро, что-то ты молчишь с давних пор.

* * *

Здравствуйте, дорогие родители.

Это письмо подписано уже не студентом сельскохозяйственного института, а красноармейцем-артиллеристом 10-го корпусного полка. Уже не кирпично-красная физиономия Воронежа находится теперь передо мной, а белое личико нашего полотняного лагеря, разбитого в лесу, окруженного запахом берез и сосен.

Я нахожусь не столь далеко от вас — на той же Рязано-Уральской дороге. Каждый день мимо лагеря гудит саратовский поезд, старый знакомый, который не раз выносил меня на тугих своих колесах.

Что сказать о нашей жизни? Встаем мы ежедневно в 5 часов утра и «оружие с руки на руку да перекладываем и с ноги на ногу все мы да переступаем и справа налево все поворачиваемся». Кроме того — разбираем пушки, слушаем военные лекции, производим разведки и съемки и т. д.

Сбор не будет продолжительным — всего полтора месяца, и в первых числах августа я, наверно, приеду к вам. Напеките тогда побольше лепешек, давно я их не ел. Здесь в лагерях кормят, конечно, недурно, но, к удивлению всех нас, студентов, нам красноармейского пайка не хватает.

* * *

Шлю вам свой красноармейский привет. Признаться, давно хотел я это сделать, но карандаш упорно не давался мне в руки. То время занято походами, то дневальством, а то работой с красноармейцами или писанием стенгазеты.

Позавчера получил ваши письма. Первым движением моим было взяться за карандаш. Но командир спал в палатке, и представился такой удобный случай выкрасть у него стереотрубу, что никак нельзя было избежать соблазна. До сих пор мы смотрели на нее, обступая кучкой в девяносто человек, вытягивая шеи, как гуси. Как же было не выволочь ее теперь на божий свет? С блаженством мы крутили все, что крутится, и поворачивали все, что поворачивается, наблюдая, что из этого происходит.

Но вот я взялся сегодня за карандаш, а что же вам написать? Живу недурно. То, что прислали посылку, —

хорошо, что не выслали денег — плохо, а что не пишете — и совсем скверно. Каждый день из штаба приносят толстую аппетитную пачку писем, и каждый день я оказываюсь с пустыми руками. Толя, где же твое толстое письмо? Да хотя бы худенькое, и то ничего. Нехорошо, товарищи!

Жду не дождусь конца лагерей. Обидно, главное, что лето проходит мимо. Осень не за горами, но мы не загораем — мы закованы в свои «мундиры», на которых не разрешается расстегнуть ни одной пуговицы.

* * *

Здрасть!!!

Вот мое красноармейское приветствие. Звонко, коротко, бодро. Да и время уже звонко и коротко, так как приближается конец лагерей. Но мне и здесь живется, право, неплохо. Работаю я теперь в отделении связи. Соединяю полевые телефоны, бегаю по кустам с катушкой за спиной, сматываю линию, передаю команды и отчаянно сигнализирую флажками по азбуке Морзе. После всего этого ложусь и слушаю, как возятся ребята с командиром у гаубиц:

— Батарея, огонь!

— Батарея, огонь!

— Огонь!

— Бомбой заряд второй!

— Готово!

— Второе готово?

— Готово!

— Третье готово?

— Готово!

И грохот воображаемых выстрелов. Не думайте, что если я связист, так я не знаю огневой службы. Нет, я могу работать и наводчиком, но ведь необходимо разделение труда. Очень часты у нас занятия по стрельбе:

мы определяем буссоль, даем угол доворота, уровень, прицел, коэффициент трансформации. Высчитываем шаг угломера и готовим все данные к стрельбе. Ходим часто на разведку, выбираем огневые позиции, наблюдательные пункты. Это все до обеда. После обеда время катится еще веселей. Тут есть и волейбол, и баскетбол, и пинг-понг, и шахматы, и библиотека, и буфет. Слишком далеко только река — ведь это что же такое — восемь километров. Но все же, но все же иногда становится грустно, а сердце просит чего-то еще. Уже порядком надоели мне красноармейские песни. Особенно вот эта:

Ты-ы, моря-аак, красив сам собою,
Тебе-ээ от ро-ооду двадцать лет.

Неправда! Не двадцать лет этому моряку! Ему было 20 лет в 1919 году, когда по стране ползали танки, когда шли на восток чапаевские полки. Тогда они проносили эту песню на сверкании своих штыков. А теперь постарел моряк, разве 20 лет ему теперь? Разве наше горло не требует других песен? И обидно так, что нет их, нет хороших и новых, нужных нам песен.

Представь себе — молодое утро, наши стройные ряды, выходящие из леска, сотни веселых, задорных лиц, которые не знают, как выразить свою радость, и поют с увлечением:

Эх, чай пила,
Самоварничала!

Не обидно ли? Из-за одного этого хочется стать поэтом.

## УЧИТЕСЬ, КАК ЧЕРТИ!

Бывало,
у студента
семь «хвостов».

Черт возьми!
Надо же так случиться!
Хнычет парень:
«Не буду учиться,
И никаких гвоздев!»
Теперь же
выросли мы
из кожи обезьяньей,
Газеты и учебники
зачитываем до дыр.
О самом пустяковом изъяне
Заботится товарищ,
доглядывает бригадир.
Теперь студент
по-новому чертит,
Готовится
к бурям
идущих веков...
Мы лозунг бросаем:
«Учитесь, как черти,
Чтобы дать
инженеров-
большевиков!»

* * *

Давненько не принимался я за письмо. И, конечно, Нина, виноват в этом я, хотя и сама судьба тут руку приложила. Может быть, утром третьего июля я и хотел написать тебе письмо. Может быть, я и взялся бы за карандаш, но дело-то в том, что мне не позволили это сделать. Нас построили, и выдали нам ружья, и велели скатать шинели и не разговаривать, ибо мы идем в поход. Винтовки были начищены керосином и блестели на солнце, как серебро! Глаза нам не нужно было чистить керосином — они и без этого сверкали ярче вин-

товок. Мы вышли из лагеря в полном порядке. Оркестр сопровождал нас, сотрясая воздух медью. Идти было так приятно в начале похода, и к темноте мы добрались до деревни. Тут мы расположились ночевать. Никакие силы не затащили бы нас ночевать в избы — нет, к нашим услугам были риги. В деревню же мы пошли умыться. Хозяйка вынесла нам ковшик водицы, но мы со смехом выплеснули его на землю, а сами попросили ведро. Не один раз пришлось нам это ведро опустить в колодец, прежде чем мы очистились. Вода клубилась, сверкала и шипела, обжигаясь о наши горячие тела. В саду, где все это происходило, выросли лужи, но зато грязь с корнем была вырвана из наших пор. Удовлетворенные, мы оделись и, не дожидаясь ужина, который варила нам походная кухня, разбрелись по деревне со своими котелками. Крестьяне охотно давали нам молоко и никак не хотели брать за него денег. Кто бы другой не поверил, что я выпил целый котелок молока, но ты поверишь — ты знаешь, как я люблю молоко. Затем четырехчасовой сон, полчаса на дневальство — и снова в поход. Так хорошо идти ранним утром!..

Пройдя километров десять, мы остановились и стали распределять свои силы в ожидании противника. Командир объяснил нам тактическую задачу. Затем мы начали наступать развернутым строем, наступать на зловещий овраг, черневший на горизонте с одиноким штыком дерева.

Мы бежали по пашне с винтовкой наперевес под звуки воображаемого пулемета, бежали, пока сердце не начало колотиться в груди чаще, чем пулемет (но, увы, не воображаемо). Затем ложились и палили холостыми патронами. «Враг» отвечал нам тем же. Пронаступав до поту, мы стали тем же порядком отступать. Затем — невообразимо длинный путь, и вот к двум часам мы на месте сбора. Усталость лежала на наших плечах и каплями стекала с тела. К обеду мы едва притронулись,

но жадно напились и скорей, скорей разбрелись спать. Сапоги присосались к ногам, как пиявки, но их удалось-таки стянуть. И какое это, право, удовольствие чувствовать ноги свободными! Однако долго спать нам не дали. Через час подняли, чтобы вести в лагерь. Ох этот обратный путь! Мы уже не строем шли, шли беспорядочно. На наше счастье, на пути попадались ручьи и колодцы. Дойдя до воды, я каждый раз черпал ее фуражкой и нахлобучивал на голову. Это удивительно освежало, удивительно! Но вот — и пятнадцать километров имеют свой конец — мы вошли в парк. Оркестр заиграл марш, самый торжественный из всех маршей, и мы вошли в лагерь совсем бодро. Так закончился наш поход.

* * *

Вы пишете, что с нетерпением ожидаете первого августа. Но не думайте, что я приеду к вам именно в этот день. Первого августа я буду только еще в Воронеже, а кто знает, может быть, придется здесь задержаться. Наш институт реорганизуется, животноводов хотят ликвидировать, — очевидно, придется придумывать какие-нибудь комбинации.



## СНОВА В МОСКВЕ!

*В Воронеже Сергей прожил с осени 1929 года до лета 1930 года. В институте произошла реорганизация, и животноводческий факультет, на котором учился Чекмарев, оказался ликвидированным. Он смог бы перейти на агрономический или овощеводческий факультет. Но здесь сказалась последовательность его натуры — он остался верным выбранной им профессии и перевелся во вновь организованный Московский мясо-молочный институт. «Я рад, что честно могу смотреть в синие коровьи глаза, что я не изменил им ради какой-то свеклы или морковки» — так со свойственным ему юмором сообщает Сергей о своем решении.*

*Два с половиной года учения в московском институте — важный период в жизни Сергея Чекмарева. Среди множества общественных дел и обязанностей, в которые он в это время был погружен, особое место занимает его участие в институтской многотиражке. С большим увлечением, с журналистской страстью он отдается этой работе. Нередко в одном и том же номере вопреки газетным правилам встречается несколько заметок за его подписью. Проникнутые боевым духом, деловитостью,*

*целеустремленностью, эти заметки интересны не только тем, что дают представление о той напряженной жизни, которой он жил в эти годы. Они свидетельствуют также о разносторонности его интересов, о широком диапазоне тем, за которые он берется. На страницах газеты он принимает участие в обсуждении теоретических проблем, делает обзоры местной печати, уделяет много внимания политической подготовке студентов, их академической успеваемости, борется против «словесной трескотни», подчас подменяющей «конкретное живое дело». Многотиражка была тем единственным печатным органом, на страницах которого Сергей печатался при жизни. Работа в газете оказала влияние и на его поэтическое творчество. В стихах этого периода наблюдается более строгое и экономное обращение со словом, емкость, афористичность образов, усиливается публицистическое звучание.*

---

* * *

И вот наконец:
Мимо черных цистерн и зеленых лужаек,
Огибая красные товарные груженные чем-то составы,
Среди лязга железных цепей и воя паровозных свистков,
Кружась по лабиринту выныривающих вдруг зданий,
Взлетая внезапно в облитый асфальтом город, пахнущий
Анилиновыми красками и свежестью майских бурь, —
МОСКВА!

Москва — сердце мира, или нет — вернее, его левое предсердие, разгоняющее по всему миру алую артериальную кровь.

* * *

Дорогой Виктор! *

А не пора ли тебе и подешеветь? Не пора ли раскрыть свою записную книжку, выудить оттуда мой адрес да и написать мне письмецо? Я, со своей стороны, давно уже собирался написать тебе, но то не было времени, то настроения, а когда случалось и то и другое, не оказывалось под рукой карандаша.

Что сказать тебе теперь, когда карандаш наконец оказался под рукой? Вот я уже и в Москве. Живу я на Спасской. Комната у меня довольно приятная, даже с видом на социалистическое строительство. Кирпич, щебень и мусор цветут под окнами. В общем, я чрезвычайно доволен своей жизнью. Я рад, что честно могу смотреть в синие коровьи глаза, что я не изменил зоотехническому делу ради какой-то свеклы или морковки, как ты. Нет, теперь ни одна корова не посмотрит на меня укоризненно. Институт мой называется мясо-молочный, год его рождения 1930, пол деревянный, национальностей он — всех сразу, и член профсоюза. Я учусь на мясофаке, работаю много, догоняя свою группу. Сейчас кончаю сдавать анатомию. Вот как обстоят дела. Иногда на улицах я встречаю столько воронежских товарищей, что невольно забываюсь, сажусь вместо 12-го на 5-й номер, беру билет до Сельскохозяйственного института и еду к черту на кулички.

## ШТУРМОВОЙ КВАРТАЛ

По черным лесам,
    по огромным равнинам,
Во всех концах
    необъятной карты

---

* Товарищ С. Чекмарева.

Гудят призывы:
«Кадры нужны нам!
Кадры дайте!
Дайте кадры!
Нужны инженеры!
Врачи!
Агрономы!
Нужны зоотехники!
Директора!»
Мы землю заставим
глядеть по-иному.
Проходят комбайны,
гудят трактора!
Мясо-молочный!
Мясо-молочный!
Это к тебе
обращен призыв.
В работе огромной,
горячей
и срочной
Бейся же лучше,
бери призы!
А как мы поем
Октябрьские песни?
Довольны мы
перечнем
наших побед?
Обезличка изжита?
Прогулы исчезли?
Хвосты уничтожены?
Все еще нет!
Комсомол
лозунг
дал боевой:
Четвертый квартал
даешь штурмовой!

Все силы вложим
в один порыв,
Мясо-молочный,
штурмуй прорыв!
Покажем примеры
ударной учебы,
Чтоб наша стройка
шла горячо бы.
За качество знаний!
За темпы!
За технику!
Боевая закалка
нужна зоотехнику.
Оппортунистов
бита карта!
В работе,
в учебе
будем метки!
Даешь четвертый ударный
квартал
Третьего года пятилетки!

* * *

Толя!

Сегодняшнее письмо посвящу рассуждениям о твоих рассуждениях. А порассуждать есть о чем.

О твоем «генеральном плане».

Прежде всего и главным образом меня удивляет одно: план твой рассчитан на 10 месяцев (30 декад), а хочешь охватить ты в нем почти весь круг знаний современного человека. Неужели ты сможешь в один год изучить и ленинизм, и марксизм, и материализм, между прочим, диалектический, а не «деалектический», и историю партии, и физику, и математику, и астрономию,

и т. д., и т. д., вплоть до стенографии? Дорогой товарищ! Это программа не на 10 месяцев, а на 10 лет. Ну пусть я не так понял: пусть это нечто вроде пятилетки твоей учебы. Но и тогда такой план остается курьезом. Я вижу в твоем перечне: астрономию (!), философию (?) и даже логику — одним словом, «знай наших!». Бездны премудрости и учености горы. А между тем жизнь дергает тебя за рукав и хочет обратить твое внимание на иные, более реальные знания.

Ты собираешься работать в колхозе, — а знаешь ли ты, что такое черный пар? Знаешь ли ты, для чего, чем и как протравливать семена? Знаешь ли ты, как установить сеялки на норму высева?

Как строится триада Гегеля, тебя не спросят, а об этом могут спросить каждый день. Что же ты ответишь? Будешь хлопать глазами или посмотришь на Большую Медведицу? Нет уж, лучше оставим астрономию, бог с ней. Плохая это вещь — составлять программу учебы по каталогу Тургеневской библиотеки.

В твоем «генеральном плане», несмотря на большое место, отведенное политике, видна определенная аполитичность. Науки представляются какими-то изолированными предметами, которые нужно изучить. Зачем? Чтобы стать ученым? Развить «вум»? «С ученым видом знатока коснуться до всего слегка»? Нет, товарищ, не так. Ты сначала должен поставить вопрос: «А что нужно знать мне, как строителю социализма, живущему в двадцатом веке и пока в Большом Сухаревском переулке, но неизвестно куда впоследствии попадущему?» И прежде всего надо открыть глаза себе. Не думай, что ты зряч. Ты видишь эту фабрику? Ты думаешь, она стоит? Нет, она идет! Куда идет? По каким путям? Все это надо знать и видеть, надо усвоить, чтобы определить свои пути.

Короче — изучай политику. Но мало одной политики. Мало сказать колхознику, что выдвинут принцип

сдельной работы в колхозах, что этот вопрос имеет громаднейшее значение для хозяйства колхоза. Нет, ты покажи и расскажи, как на эту сдельщину перейти, как выработать нормы выработки, как учитывать и оплачивать труд, и т. д., и т. д.

Короче — политика должна связываться с техникой.

Невозможно хорошо усвоить правильную систему земледелия, если ничего не знаешь о бактериях. На помощь политике с техникой должна прийти наука. Как живет растение, основы его физиологии, как живут животные и человек, что за мир находится вокруг них, что говорит нам рефлексология — эта современная психология, каковы законы наследственности, каков путь развития органического мира от белка до телка и т. д., и т. д., и т. д. — вот тот круг вопросов, который необходимо усвоить, чтобы правильно поставить даже свою практическую работу.

Но мало одной политики с техникой и наукой. Когда будет выстроено такое солидное здание из кирпичей всевозможных знаний, надо построить к нему крышу, чтобы здание было закончено, чтобы дождь не мог его попортить, чтобы было оно связано в одно единое целое. И это дает изучение диалектического материализма. Нужно проработать углубленно сочинения Энгельса, Маркса и Ленина. Вот в таком виде должна представляться программа учебы современного человека.

Она отличается немного от твоего «генерального плана», не правда ли?

## Я ВЫЗЫВАЮ

Меня
    с нетерпением
        ждет страна,
Послать меня хочет
    туда,

Где плачет
    дисковая борона
И грузно
    идут стада.
Там в поле
    на солнце
        искрится сталь...
Комбайны
    ползут стоногие...
А у меня
    еще два «хвоста»:
По анатомии
    и гистологии.
А я
    большевистские
        темпы сдал,
К учебе
    немного остыл —
Сегодня
    на двадцать минут
        опоздал,
Вчера
    полчаса пропустил.
Так нет же!
    Пламенем
        жжет меня стыд,
Гудки пятилетки
    взывают.
Я
    ликвидирую
        эти «хвосты»,
Ликвидирую
    и вызываю.
Я вызываю
    своих друзей,

Таких же, как я,
«хвостатых»:
— Давайте
в старинный
сдадим музей
Обломовских темпов латы! —
Я слышу,
как бурей
шумит институт
И гул раздается
ответный:
— Товарищ!
Дни пятилетки идут,
Октябрьские
дуют ветры.
Заводы грохочут
в отблесках сизых,
Нервы натянуты,
как струна.
Товарищ студент!
Принимай же вызов,
Тебя
с нетерпением
ждет страна!

* * *

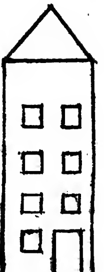
Дорогой братень!

Получил твое письмо от 29/IV только 9 мая. Уже поздно было слать тебе в Москву ответ, да и все равно я посоветовал бы тебе ехать в деревню. О чем я буду писать? Отвечу прежде всего на те «роковые» вопросы, которые ты задаешь в последнем письме. Дорогой товарищ! Ты спрашиваешь: как можно изучать политику по заданиям? Разве может прийти такой момент, когда можно будет сказать: да, я знаю политику?

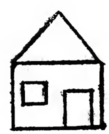
Товарищ дорогой! Ты путаешь. Во-первых, не будем говорить о политике «вообще», речь шла об определенной теме: «Задачи комсомола в деревне». О ней и будем говорить. Вопрос, стало быть, стоит так: можешь ли ты в один прекрасный день, проработав эту тему, заявить, что теперь ты совершенно ясно представляешь себе задачи комсомольской организации в деревне, что ты **абсолютно** хорошо разбираешься в этом вопросе? Да, конечно, можешь! Какие тут могут быть сомнения? Правда, завтрашний день может принести новый лозунг, новое конкретное предложение, но, читая газеты, ты их будешь приплюсовывать, и не приплюсовывать нельзя, иначе ты безнадежно отстанешь. Газеты читать необходимо — это положение не нуждается в доказательствах, но что-то такое, какую-то основу нужно иметь, для того чтобы по-настоящему высосать газету, чтобы извлечь из нее пользу. Для того, кто не обладает необходимой какой-то основой политзнаний, действительно газета скучна и не нужна, как не нужны пули для того, кто не обладает револьвером. Для одного эти пули волнующи и могущественны, он чувствует в них огонь и борьбу — для другого это просто кусочки металла, не годные никуда. Поэтому советую: приобрети револьвер! Выработай в себе эту основу основ, и тогда каждая строка будет тебе казаться пулей. Об том-то и шла речь. Надо усвоить ее, надо усвоить как можно лучше и крепче. Надо составить тот конспект, о котором я тебе говорил. Иные говорят: я знаю, но не могу объяснить. Чудаки! Это все равно как если бы они видели в комнате черта; ибо это не знание, а галлюцинация. Нет, только тогда ты знаешь, когда можешь объяснить, и только тогда знаешь толково, когда можешь толково объяснить. Вот почему такое значение я придаю конспекту.

Дальше — я вижу, ты скорей хочешь взяться за изучение диамата; дескать, что такое стены, их можно

строить вечно. Разумеется, вечно. И дом может иметь и такой вид:



И такой:



Но что ты скажешь, если он будет иметь такой вид?



Ведь он все равно не жилой, в нем жить нельзя, хотя и имеется крыша — диалектический материализм. Отсюда вывод: прежде чем начинать строить крышу, следует построить хотя бы один этаж. Таким единым этажом является знакомство с основными законами физики и химии, владение хотя бы средней математикой, знакомство с биологией, генетикой и теорией Дарвина, ясное представление о том, что такое класс и классовая борьба, в чем заключается материалистическое понимание

истории. Совершенно очевидно, что пока этого у тебя нет. Напрасно ты представляешься ученым и загибаешь в своих письмах разные умные словечки, вроде того, что к «изучению психологии ты подойдешь с биологической точки зрения и познакомишься с рефлексологией и евгеникой». Рефлексология еще так, но евгеника, дорогой товарищ, не имеет никакого отношения к психологии. Это учение об улучшении человеческого рода.

Остался еще один «роковой вопрос». Почему я не указал в своем письме место «очеркам»? Я не упустил этот вопрос, а нарочно обошел его. Может быть, не один пуд соли надо мне съесть, прежде чем указывать, как лучше и продуктивнее заниматься литературным творчеством и как сочетать его с образованием и практической жизнью.

Вот и все, что хотел сказать по поводу твоих «неразрешимых» вопросов.

* * *

Нет,
не сравниться
с нарядом знамен
ноябрьскому
небу сизому.
На стиснутых улицах
столько колонн,
Столько людей
нанизано!
Сегодня
автобус,
трамвай,
грузовик,
Камень,
асфальт
и бетон

Имеют
октябрьский вид,
Окрашены
в праздничный тон.
Но даже
и здесь,
где площадь гудит,
Классовая зоркость —
не уходи!
Но даже и здесь,
среди гула и шума,
Невольно приходят
тревожные думы:
Товарищ!
Ты видишь
октябрьский флаг,
На нем
золотые
слова горят,
За ним,
быть может,
укрылся враг,
Он, может быть, с нами
шагает в ряд!
Товарищ!
Зорче
гляди вокруг,
Отдайся
тревожной заботе.
Не здесь,
не здесь
узнается друг,
А в будничной
нашей работе.
Товарищ,
глядя в микроскоп,

Углубившись
        в рой инфузорий,
Надо чувствовать
        поросли
            новых ростков,
Надо видеть
        Октябрьские зори.

* * *

Отвечаю на твое письмо о любви.

О черемухе. Мой ответ: да, без черемухи! Мне скажут: неужели ты за упрощенство в любви? Нет, и не за упрощенство. Но эстетическую любовь я вижу не в том, в чем видишь ее ты.

Дело не в том, что любви отводится слишком много места — так и надо отводить ей много места, вообще любовь стеснять не следует.

А в чем же?

А в том, что любовь подчас расценивается как нечто высокое и прекрасное не сама по себе, а по тем аксессуарам, которые ей сопутствуют. Если мужчина весной, когда цветет сирень, катается с женщиной в лодке и целует ее, то это поэзия. А когда мужчина, шлепая по грязи калошами, подходит к реке, где женщина стирает грязное белье, целует ее — то фи! — это проза!

Так и черемуха. Почему именно черемуха, а не лимон, не апельсин, не жареная капуста? Ведь они пахнут не менее хорошо. Меня злят всегда такие вот сторонницы любви «с черемухой», которые не видят всего величия и красоты любви самой по себе, любви у грязного корыта, у примуса, любви без всякой черемухи, без сирени, без акации, но хорошей большой человеческой любви.

Да существует ли она?

Любовь *существует* и бродит между нами, она пря-

чется в складках платья и в уголках губ, она приковывает глаза к чьим-то окнам, она сжимает сердце тоской, как обручем, она радостно закручивает человека, как вьюгой. В общем:

Эх любовь, ты любовь,
До чего доводишь.
Хлеба крошки не берешь,
Как шальная, ходишь.

Собирай частушки, в них очень много хорошего.

Но любовь не вспыхивает сразу, как огонь, нет, она растет, как вишня, как молодой зверек. У кого в душе этот зверек не рождался? Рождался у всех. Но кто сумел его вырастить? Ну-ка? Оглянись кругом, найдешь ли? И вот в чем дело: мы не умеем и не хотим любовь воспитывать. Милый, жалкий зверек рождается в нашем сердце, он беспомощен еще, он барахтается и погибает через две недели. А многие даже берут его за шиворот и с наслаждением топят, как котенка: «Что за сентиментальность!»

Человек прежде всего хочет есть, затем уже любить. Тяжелый закон, который влечет к тому, что люди привыкли душить в себе хорошие, едва распускающиеся чувства и ставить их на три ступени ниже своего материального благополучия. Этот закон отменен еще 7 ноября 1917 года.

И вот мне хочется сказать всем людям: давайте не душить в себе этих зверей! Давайте их воспитывать, какие бы маленькие они ни были, и посмотрим, что из них получится.

Девушка улыбнулась около вас и скрылась в воротах МГУ. Можно ее разыскать? Можно. Надо только сказать себе, что эта улыбка, это милое выражение прищуренных глаз, как пчелиное жало, ранившее сердце,— это не пустяк. Это же молодой зверек, зверушка, капленок, который может вырасти; а он погибает, конечно,

через три дня, если не обратить на него внимания. Он подохнет, и они сотнями дохнут!

А у меня вот, когда подохнет такой зверек, я злюсь на себя, я знаю, что что-то хорошее погибло. Я не знаю, как это передать, чтобы ты понял, но, по-моему, если кому-нибудь понравилась женщина, это обязывает его к чему-то, он обязан продолжать. Преступления против любви никогда не прощаются (Чехов).

Ну вот, все это бессвязно, но, думается мне, понятно, — надо уметь растить любовь.

## ОДИН К ОДНОМУ

Бывало,
студент
пройдет стороной
И скажет
этак рассеянно:
— Вот тут бы, мол, диском,
а тут бороной...
А поле уже посеяно.
Бывало,
студент
поглядит за столбы,
Заглянет
за две перекладины:
— Да, мол,
у вас хороший бык...
...А бык-то, выходит,
кладеный.
Теперь
мы изъездили
весь Казахстан,
И сторону
знаем кавказскую,

И эти рассказы
          у вас на устах
Нам кажутся
        детскою сказкою.
Теперь
        недаром: один к одному!
Сияют
        зари излучины.
Овечье «бя»
        и коровье «му»
До точки
        нами изучены.
Недаром
        мы гнали стада за версту,
Недаром
        в навозе марались,
Под теплою
        шерстью
                слушали стук
Артерии феморалис *.
Недаром
        над нами
                бродила луна,
Лучами беля, как известкой.
Она нам — корова, —
        как песня родна.
И как свои пальцы,
        известна.
По сизому небу
        плывут облака.
Корова
        жует
                и думает:
«Сердитые люди
        отняли телка,

* Бедренная артерия.

В овсяной соломе мало
белка,
И жизнь моя
очень угрюмая».
Я запахом талого снега дышу,
Я знаю
тоску коровью,
И я
не чернилами
это пишу,
А собственной сердца
кровью.
И я
говорю:
«Растай, тоска.
Коровья печаль,
затихни.
В вузе,
где мелом
стучит доска,
Учится зоотехник.
Он пишет конспекты,
листает тома,
Льет кислоту в бюретки,
Он готовится
силу ума
На службу
отдать пятилетке.
И он придет
среди пыльных степей,
Среди леска поределого
Строить
силосные башни тебе
И заново
мир переделывать».

## О СЧАСТЬЕ

*Из дневника*

Вчера Владимир, воспользовавшись тем, что мы на два часа оказались в вынужденном безделье, завел длинный разговор о своих «сомнениях». При этом были вытащены на белый свет вообще довольно известные рассуждения о том, что живем мы только раз, и субъективно мир существует только в каждом из нас и в силу этого должен быть максимально использован для личного счастья. «Ты один, у тебя одна жизнь — ищи для себя большего счастья, везде делай так, чтобы тебе было как можно лучше».

Следовательно, всякая самоотверженность ради интересов класса и ради лучшего будущего неоправданна. «Все равно из тебя к тому времени лопух будет расти».

Опасность подобного философствования состоит в том, что в нем довольно искусно завуалирован переход от верных исходных положений к вполне ошибочным выводам, и это сопровождается видимостью защиты наиболее глубоких, интимных, коренных интересов отдельного человека.

Ну, например, никто и не отрицает, что живем мы только раз и нужно как можно полнее использовать эту жизнь. Все это так. Но из этого совсем не следует, что нужно стремиться скорее утащить краюху у другого или всякими правдами и неправдами приобрести побольше денег и каждый день устраивать пирушки и ходить по ресторанам. При подобном образе действий человек сам себя обкрадывает, обрекая себя на жалкое, по сути дела, существование. Разве развлекательная жизнь, наполненная гулянками, бездельем или сытым обывательским довольством, может доставить человеку сильные переживания? Разве такое употребление времени обеспечивает наиболее полное использование этой нашей единственной жизни? Разве мало примеров, когда такая

жизнь, в конечном счете, опустошает человека и когда умные люди чувствуют глубокую неудовлетворенность таким образом жизни? Все средства развлечения привлекательны только вначале, а при повторениях становятся однообразными, как степная дорога. Я не за аскетизм, развлечениями нельзя пренебрегать, это все хорошо, но нельзя, чтобы это было основным содержанием жизни. Пусть это будет, когда возможно, дополнительным ее украшением.

Мы живем только раз, и нужно прожить жизнь наиболее счастливо. Но что такое счастье? Счастье не существует само по себе. Для счастья, для самого личного счастья человека необходима горячая привязанность его к какому-то делу, к какой-то проблеме, к какой-то «идее».

В самом деле, когда человек счастлив? Когда он достигает того, чего хочет. Когда человек очень счастлив? Когда он достигает того, чего очень хочет. Сила переживания зависит от силы желания. И если человек страстно желает достигнуть какой-то цели, если это желание не дает ему покоя, если он ночи не спит с этой страстью, — тогда удовлетворение желания приносит ему такое счастье, что весь мир кажется ему сияющим, земля поет под ним.

И пусть даже цель еще не достигнута — важно, чтобы человек страстно желал ее достигнуть, мечтал, горел этой мечтой. Тогда человек развертывает свои способности, азартно борется со всеми препятствиями, каждый шаг вперед обдает его волной счастья, каждая неудача стегает, как бич, человек страдает и радуется, плачет и смеется — человек живет. А вот если нет таких страстных желаний, то нет и жизни. Человек, лишенный желаний, — жалкий человек. Ему неоткуда черпать жизнь, он лишен источников жизни. И никакие развлечения не смогут заполнить пустоты его существования.

Совершенно прав Писарев, когда говорил, что величайшее счастье человека состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно без колебаний безраздельно посвятить себя.

Скажут: можно увлечься и реакционной идеей. Конечно, можно, и для капиталистов, например, такое увлечение вполне естественно. Для людей же, не связанных кровно с капитализмом, такое увлечение противоестественно, хотя и встречается. Противоестественно потому, что нормальному человеку трудно привязаться к делу, ходом истории обреченному на гибель.

Кроме того, приятно посвятить себя делу, которое несет, в конечном счете, обогащение жизни всего человечества. Только дегенераты могут радоваться и способствовать делам, от которых чахнут дети и тускнеют глаза взрослых людей.

Таким образом, малоуважаемый путаник Володя, **я готов бороться за лучшее будущее человечества не в силу аскетического самоотвержения; эта борьба сделает мою жизнь наиболее полной и богатой, потому что я испытываю живой интерес к ее целям.** А то, что другие люди потом, когда из меня будет лопух расти, неплохо отзовутся обо мне, может только поддержать мои сегодняшние привязанности.

## БАЛЛАДА О ПРОСТОТЕ

Однажды мне встретился старый поэт —
Звезды ярки, и ночь тепла, —
И пока глаза не раскрыл рассвет,
Беседа наша текла.
И он сказал: «Не такие, мой друг,
Я раньше писал стихи —
В них слышались лиры тончайший звук
И рокоты всех стихий.
Я был от вершины уже на вершок

И был знаменитым почти,
Когда однажды рабочий — дружок
Меня попросил: «Прочти!»
Строками бушуя, словами звеня,
Я в рифмах своих закипел.
Он, молча склонившийся, слушал меня,
Ударник и член ВКП.
И, когда, прочитавши сонетов пяток,
Хотел его одой донять,
Он тихо сказал мне: «Довольно, браток.
Я вижу: мне не понять».
И он смущенно пошел от меня,
И взор его глаз потух.
И только долго была видна
Рубашка его в поту.
И понял я в единый миг,
Пока глядел ему вслед,
Что все мои кипы написанных книг —
Тяжелый, ненужный бред.
Так что же я сделаю? Как снесу?!
Я сгорел от стыда...
И вот с тех пор зарубил на носу:
Да здравствует простота!
О нет, конечно, не та простота,
Что хуже воровства,
Нет, не такая, а просто та,
Которая с жизнью росла.
Она проста, она глубока
И вместе с тем строга.
Она человека берет за бока,
Как быка за рога».
Поэт окончил. Его рассказ
Я как завет берегу.
И пусть не срывается вычурных фраз
С моих еще юных губ.



## УРАЛЬСКАЯ ВЕСНА

*«Вторая большевистская» — эти слова мы часто находим в рукописях Сергея. Речь идет о весне 1931 года.*

Большевистская эта вторая весна,
Я видел ее на равнинах Урала.
Она мне трактором в уши орала,
Она зачастую лишала сна.

*Деревня становилась на новый, социалистический путь развития. В этот важный для всей страны революционный процесс внес свой вклад и Чекмарев. На Урале он провел четыре месяца. Это была и студенческая практика, и большая агитационно-пропагандистская работа. Она закалила его политически и обогатила его поэзию новым значительным жизненным содержанием. Уральская весна — очень важный период и в жизни, и в творчестве Сергея Чекмарева. Знакомство с жизнью сибирских сел, в которых еще так недавно горели партизанские костры гражданской войны, встречи с интересными людьми — участниками войны — оставили большой след в его душе. Он мечтал вернуться в эти края и написать о них более обстоятельно. Но сделать это ему не удалось.*

* * *

Звонок зазвенел,
паровоз заорал,
Бригада студентов —
мы мчим на Урал.
Вагоны набиты,
и полки тесны.
Мы — солдаты
второй большевистской весны.
Грустить
или плакать
нам нету причин.
Мы спорим,
смеемся,
поем
и кричим.
О чем-то,
о чем-то
поют буфера?
О том, что готовы
и ждут «буккера».
По чем-то,
по чем-то
грустит чернозем?
По умным
по книжкам, —
а мы их везем.

* * *

Итак, мы едем. Паровоз мчит нас в Уральскую область. Нас пятеро студентов-мясников, пятеро комсомольцев, пятеро молодых ребят. У нас в сердцах — ненасытная жажда действий, а в карманах — командировки Колхозцентра.

Мы разговариваем о будущей нашей работе. Стараемся представить ее конкретнее. Один из нас убеждает крестьян вступить в колхоз. Другой изображает несознательную бабу. Увы, «баба» никак не желает вступить в колхоз, она забивает красноречивого агитатора.

«Где керосин?» — спрашивает она агитатора, и агитатор вспыхивает, как керосин. «Где полотно?» — спрашивает она, и агитатор бледнеет, как полотно. Общими усилиями мы приходим ему на выручку. Керосина добывается сейчас не меньше, а больше, чем в прежние времена. «А где же он?» — «А вот он, видишь, клокочет в цилиндрах проезжающего пашней трактора! Он налит в баках пролетающего аэроплана. Для избы: для лампы, для примуса — керосин оставляется тоже, но оставляется в обрез, и потому удивительно ли, что выходит заминка? Но эта заминка нам не страшна, раз керосин все-таки есть». — «А мануфактура?» — «А если у тебя хозяйство погорит, — отвечаем мы вопросом на вопрос, — что ты будешь делать? Будешь ли ты сколачивать избу или купишь сарафан? Избу? Так делается и в стране. Сначала мы строим самое главное. Вот мы построим машинный завод, а на нем сделаем трактор, а трактор дадим в колхоз, колхоз даст тройной урожай льна, и полки магазинов будут ломиться от мануфактуры. Так-то!» «Баба» сбита, баба не знает, что и возразить. «Она» старается переменить разговор и жалеет, что в Москве не успела побриться. Мы коллективно утешаем ее и приступаем к следующему вопросу, стоящему на повестке дня. Не помню, были ли это котлеты или колбаса. Кажется, колбаса.

А поезд между тем нас вез и вез.

За окнами
видно,
что ветер не с юга.

За окнами вьюга,
        вьюга,
                вьюга...
За окнами
        тихо пейзажи мелькали,
Заводы и копи огнями цвели.
Здесь марганец,
        магний,
                железо
                        и калий,
Селитра
        и кальций
                идут из земли.

Мы обсудили работу МТС, работу бедняцких групп в колхозах, обращение о контрактациях и прочее. В общем, было очень интересно. Куда девалась «дорожная железная» скука, по остроумному выражению Блока! Так мы сидели в вагоне, смеясь и споря. Наконец вечером в окна хлынули строения станции.

Свердловск! Мы въехали в этот достопримечательный город четырнадцатого, в четыре часа дня. Таким образом, мы потратили на путешествие шестьдесят четыре часа и два часа потеряли благодаря вращению Земли. Черт бы побрал проклятую вертушку! Людям дорога каждая секунда, а она вертится.

Мы прожили в Свердловске два дня. Жили мы в Доме колхозника, бродили по улицам, побывали на III Всеуральском съезде Советов. Два часа ссорились в Уралколхозсоюзе, который никак не хотел, чтобы мы ехали вместе: «Нет, мы не так богаты людьми». Нас рассовали по различным районам. Я еду в район с экзотическим именем Еманжелин.

Итак, мы едем...

Этими словами, которыми я начал письмо, я его и заканчиваю. До нескорого свиданья.

* * *

Вечер. Я сижу в Еманжелинке на отведенной мне квартире, озабоченный мыслями о близости весны. Хозяйка возится у печки и не переставая рассказывает про соседа:

— Ни земли никакой не арендовал, ни мельницы не держал... За что раскулачили человека? Да разве он кулак был? Честный был работник.

За окном хлопьями падает снег. Стучат молотки в кузнице. Все в порядке — зима продолжается.

— Или бы торговал чем, или бы ростовщиком был, а то как есть ничего.

Хозяйка нагибается и пропихивает ухватом в печь какой-то чугун.

— Или бы отец жил богато, или дед, а то ничего этого не было. Просто придрались к человеку.

Молчание. Меня наконец заинтересовала эта жертва раскулачивания.

— К чему же придрались? — спрашиваю я.

— Да батрака держал, — сказала простодушно старуха и, увидев по выражению моего лица, что этот факт кардинально меняет дело и что появившееся было сочувствие мое к «несчастной жертве» мгновенно улетучилось, жалуясь, продолжала: — Да ведь тогда же не запрещалось иметь батраков, ведь все ж имели... Вон и Степан Агафоныч имел батрака, да в колхозе сейчас за милую душу.

Я задумываюсь. Да, кулаков тут было много, и чувствовали они себя здесь крепко.

Коллективизацию в Еманжелинке долго не могли сдвинуть с двадцати восьми процентов. Многие середняки уже были в колхозе, а беднота шла туго. Крайняя улица, так называемый Вокзал, населенная сплошь беднотой, в колхоз не вступала. Никакая агитация не помогала, а надо сказать, что агитаторам тут простор. Они

могут сколько угодно говорить про индустриализацию, тракторизацию, машинизацию — у крестьян не появится скептической усмешки. Эти слова здесь осязаемы, они видимы и, особенно, слышимы, так что хоть уши затыкай. Гигантские гусеницы «катерпиллеров» ползают между селами. Всего за сорок верст раскинулась, поражая размерами своих корпусов, громадина Челябтракторостроя. Да, агитаторам тут раздолье. И все же, несмотря на это, беднота не трогалась с места. В чем секрет? Секрет этот еще девяносто лет назад был открыт Карлом Марксом и называется классовый антагонизм. Классовый антагонизм мешал бедноте идти в колхоз, где благодаря близорукости местных работников засели кулаки. «Где кулак? Какой кулак? — говорили они. — У нас кулаков в колхозе нет!» Вместо кулака они видели ладонь, протянутую для дружеского рукопожатия, и принимали ее недолго думая.

Яков Чернышев состоял членом колхоза. Яков Чернышев — кулак, об издевательствах которого над батраками ходят рассказы по всей Еманжелинке.

Однажды работница, жившая у него, уронила ведро в колодец.

«Достань ведро!» — велел он.

Болезненная девушка, дрожа, стояла у края колодца, не решаясь спуститься. Но хозяин был неумолим:

«Раз уронила — доставай!»

Работницу на веревках спустили в черный провал, и действительно ведро было спасено. Но с работницей, вылезшей из колодца, случился припадок, и ее принуждены были свезти в больницу. Там она умерла.

А Чернышев ходил по деревне в качестве колхозника, да еще с папками под мышкой — он был на канцелярской работе. Я написал «ходил», потому что позавчера Чернышев и еще четыре кулака были вычищены из колхоза. Они глядели как затравленные волки в чаще дружно поднявшихся против них рук. К чести ком-

сомольской ячейки надо сказать, что инициатива чистки исходила от нее. Комсомольская ячейка первая заинтересовалась разговорами на селе о Чернышеве. Только тогда местные работники заметили наконец, что это не ладонь, а кулак, к тому же злобно сжатый.

Уже в день чистки было подано несколько заявлений в колхоз, а затем выпал снег маленьких белых листочков заявлений — хороший подарок второй большевистской весне.

«Вокзал» зашумел, заволновался. Одна за другой его хаты стали прицепляться к колхозному поезду. Счастливого пути! Кулак был побежден. Но я знаю, что эта победа еще не окончательная... Мне помнится случай, о котором я слышал в Еткуле от одного колхозника, прежде батрачившего в этом селе.

«Хитрый был, сволочь, — рассказывал он, — небось выписывал две центральные газеты и читал их целый день. Он первый смекнул, в чем дело, и удрал в город заблаговременно».

Этот случай у меня постоянно в памяти. Трудно ли раздобыть документы? Мне жаловался председатель Белоусовского сельсовета, что никому не может доверить печати и всегда носит ее с собой. Оставь кому-нибудь, так тебе сейчас таких справок понастряпают, что любо-дорого.

Мудрено ли кулаку устроиться? Мне представляется: огромный зал, заполненный людьми. И над людьми, потными, усталыми, но внимательными, — тихий, прерывающийся голос: «...хозяйство было бедняцкое, потом, конешно, пала лошадь, пошел, конешно, на завод, работаю, конешно, год три месяца...» Шелест, шепот, внимательные глаза, — нет, не дано им проникнуть в сердце человека! И накладывается широкая резолюция поверх лиловых кривых букв: «Принять в кандидаты ВКП(б)».

Товарищи, оглянитесь, не с вами ли вместе он работает? Классовая зоркость, неослабляемая зоркость нужна нам каждую минуту!

## ГДЕ Я? ЧТО СО МНОЙ?

Ты думаешь: «Письма
В реке утонули,
А наше суровое
Время не терпит.
Его погубили
Кулацкие пули,
Его засосали
Уральские степи.

И снова молчанье
Под белою крышей,
Лишь кони проносятся
Ночью безвестной.
И что закричал он —
Никто не услышал,
И где похоронен он —
Неизвестно».

Товарищ! Не верь же
Вороньему карку,
Отбрось ворожеи
Седые приметы.
Купи на Кузнецком
Уральскую карту,
Вглядись в разноцветные
Миллиметры.

Возьми прогляди
Оренбургскую ветку.
Ты видишь, к востоку
Написано: «Еткуль».

Написано: «Еткуль»,
Поставлена точка.
И сани несутся,
Скрипя полозьями,
И вьюга махнула мне
Белым платочком, —
Мы стали тут с нею
Большими друзьями.

* * *

И вот я работаю в Еткуле. Что такое Еткуль? Это прежде всего сеть прямоугольных улиц, так дворов восемьсот, опушенных колючим снегом и украшенных деревянными ставнями. Затем — это четыре тысячи сердец, это восемь тысяч разноцветных глаз. И, наконец, и это самое главное, — это пароход, плывущий к социализму. Да, тот самый пароход, который, по мистеру Троцкому, нельзя было создать из сотни рыбацких лодок. А вот он и создан, этот пароход, и винты его заработали!

Дышу я здесь в атмосфере всеобщего уважения. Называют меня не иначе, как «товарищ агроном», и считают специалистом по всем отраслям сельского хозяйства. Первые дни я считал своим долгом объяснять каждому, что я-де не совсем еще агроном и что, будучи... и т. д. и т. п., но теперь отбросил ложную скромность.

Четыре дня тому назад мне были торжественно вручены курсы колхозников-животноводов. Курсанты съезжались из всех пятидесяти шести колхозов и деловито рассаживались, расстегивая полушубки, отряхивая седину снега с черных бород.

С завом Бобылевым мы пришли на открытие курсов, происходившее в помещении еткульской школы.

Курсанты чинно уселись рядами, еле втискивая свои

большие тела в детские парты. После очень длинного и не менее путаного доклада местного обществоведа взял слово я.

— До коллективизации мы — студенты сельхозвузов, агрономы, зоотехники — были бессильны. Разве крестьянин, бедняк и середняк, не понимал, что светлый, чистый и сухой хлев лучше дырявых плетней? Но разве в силах он был оборудовать такой двор? Разве крестьянин, бедняк и середняк, не мог понять, что межа — рассадник сорняков и обиталище вредителей? Но как же иначе отличить свою пашню от пашни соседа? Мне рассказывал один старый агроном, как он в одной деревне читал лекции о выращивании огурцов. «Ну и что же, последовал кто-нибудь вашим советам?» — спросил я. «Как же, — говорит, — я сам видел, у попа хорошие огурцы выросли». (Смех.) Вот, товарищи, куда шли знания агрономов. Ведь только сейчас агрономия может идти рука об руку с крестьянами. Нам предстоит большое дело, товарищи. Давайте же вооружаться знаниями, чтобы использовать их в хозяйстве.

Я все же боялся. Я думал, что ехидные мужички собьют меня на какой-нибудь запашке, вытащат какую-нибудь блоху из седины своей практики. Однако нет, мой авторитет все время держался на должной высоте. Правда, помогло и то, что курсы вел я не один, а с другим агрономом, уже настоящим, которому я постарался выделить самые каверзные вопросы. Это был каштановый старичок, старавшийся ходить как можно прямее и говорить как можно внушительнее. Он так сморкался, будто трубил в трубу, а носовой платок развертывал, как знамя, и после этого подавал сигнал к началу занятий. Я держался проще, душевнее, говорил, пожалуй, живее, и мои занятия любили больше. Я не давал готовых рецептов, готовых правил, а, изложив какое-нибудь агрономическое правило, ставил его на обсуждение. Высказывались «за» и «против», часто нахо-

дились уже испробовавшие его на практике. Затем я говорил, чье мнение сходится с мнением науки, и этого момента всегда ожидали с нетерпением. Сначала я ограничивался такими разговорами, а курсанты записывали, как умели. Но после того как, просмотрев одну тетрадь, я прочел в ней, что свиней хорошо кормить сырой картошкой, в то время как я говорил обратное, я немного изменил метод. В конце каждого занятия я стал диктовать вкратце то, что мы прошли за занятие.

Труднее мне было вести курсы первые дни. Дело в том, что, как только я приехал в Еткуль, меня схватила за горло ангина. В первый день моего приезда я ввалился в отведенную мне квартиру вечером, когда керосиновые лампы в избах уже распространяли свой свет и благоухание. На столе кипел самовар, за которым одиноко сидел человек, пивший чай с конфетами. Конфеты он клал прямо в стакан и размешивал их ложечкой. Я подсел к столу, и тут первый стрептококк ударил меня по голове. Я почувствовал боль в горле. Ради вежливости надо было сказать несколько слов незнакомцу. Он оказался из Челябинска. Я спросил, что у них там идет в гортеатре, и сейчас же раскаялся, ибо собеседник, оживившись, длинно и нудно начал пересказывать какую-то пьесу. Между тем голова у меня все больше и больше начинала шуметь и раскаляться. Как только занавес был опущен и зубы разговорчивого челябинца защелкнулись, я стал укладываться спать. Собеседник остался допивать чай. Я закрыл глаза, но керосиновый свет все равно проникал сквозь веки, и чем плотнее я их сжимал, тем сильнее раскалялся зрачок. Прошло неопределенное количество времени, в течение которого я пытался бороться с жаром зрачков. Наконец я раскрыл глаза, чтобы загородить чем-нибудь лампу от себя. Темнота царила кругом. Окна, закрытые ставнями, не пропускали даже капли лунного света. В углу тихо раздавался храп моего челябинского собеседника.

...Ангина все-таки честный боец, она лежачих не бьет. Наутро я встал почти здоровым, и, если бы пролежал день, все было бы хорошо. Но курсы ждали меня. Сто с лишним ушей было открыто для принятия премудрости. Говорить приходилось по десять часов в день, ангине не стоило большого труда сшибить меня прямо в постель. Так единоборствовал я с нею пять дней, пока не победил. Теперь я чувствую себя отлично и на аппетит не могу пожаловаться. Скорее будет жаловаться он на меня, что я удовлетворяю его не полностью. Насчет еды здесь скудно.

Многое можно было бы написать, но всего не упишешь в одном письме.

Поэтому скажу в общем — в общем хорошо! Зори цветут малиновыми кустами, и солнце дисковой бороной ходит по небу.

Ожидайте дальнейших писем так же, как и я ожидаю ваших.

* * *

Сегодняшнее письмо мое будет о молодости, стуке и шуме, о веселых глазах и упрямых головах, о кусочках картона, которые люди берегут, как сокровище, хотя они не дают им ничего и только накладывают на них обязательства быть первыми в труде и борьбе и не знать усталости. Короче: я буду писать о еткульских комсомольцах.

В Еткуле две ячейки ВЛКСМ: одна сельская, другая ШКМовская *. В ШКМовской ячейке сорок человек, хорошие и дружные ребята. Даже недурно работают, создали в Бектыше колхоз, взяли над ним шефство, устраивают субботники по сортировке семян и т. д.

* ШКМ — школа крестьянской молодежи.

Но у шекамят был один очень серьезный недостаток. На первом же собрании я задал вопрос:

— А что такое правый уклон? Что говорили правые?

Гробовое молчание. Комсомольцы-шекамята были просто-напросто политически безграмотны. Лишь одна комсомолка нарушила молчание и прерывающимся голосом сообщила, что по обществоведению они это прорабатывали и что правые говорили что-то об индустриализации: не то чтобы ее уменьшить, не то чтобы увеличить.

Как могло так получиться? У шекаэмовцев было обществоведение, у них был кружок текущей политики. Но все это было передано в одни руки — руки преподавателя обществоведения Никиты Петровича. Никита Петрович — бывший комсомолец, переданный в беспартийный актив, молодой человек приятной наружности. Он обладал замечательной способностью (увы, не редкой в наше время) говорить сколько угодно и на какую угодно тему. Эту его способность ценили, и он был постоянным докладчиком на всех революционных праздниках и в торжественные дни. Можно прослушать его два часа и после удивленно спросить себя: «О чем же он говорил?» Да ни о чем в общем, перескакивал ловко с коллективизации на Карла Каутского, а с него на акул мирового империализма. Не оскорбляйте воду. Это не вода. Вода освежает человека, а такие речи расслабляют. Вода делает человека бодрым, а от таких речей хочется спать. Мудрено ли, что шекамята ничего не усвоили из его уроков обществоведения? Мудрено ли, что кружок текущей политики мало кто посещал, а кто и посещал, то скучал на занятиях? В сущности же, политика — это самая увлекательная вещь. Без знания ее человек слеп.

Первым долгом комсомольский политкружок я отделил от кружка текущей политики. Предоставив по-

следний в бесконтрольное ведение Никиты Петровича, комсомольский политкружок взял на себя.

Первое занятие посвятили мы вопросам коллективизации, ликвидации кулачества и правому и левому уклонам. Мои выступления относились к выступлениям слушателей, как один к одному. Я ставил вопрос, излагая иногда даже неверную точку зрения, чтобы ее разбить. Ребята обсуждали, спорили и часто сами приходили к правильным выводам. К политзанятиям у них появился интерес.

— Ну так вот, — говорю я. — Значит, вы знаете теперь, что говорили правые, что говорили левые, и видите, что они говорили противоположное одно другому. Значит, они должны сильно ссориться между собою?

— Конечно, — кричат ребята, — что за вопрос!

— А вот, оказывается, и нет!

И мы вскрываем связь этих двух уклонов, их социальное родство, говорим о право-левацком блоке.

Занятие идет живо. Ребята понимали теперь, что к чему.

— Вот, а ты не хотел идти, — подтолкнул один парень другого, когда кончилось занятие.

— Не знал, вот и не хотел, а теперь сроду не пропущу!

Комсомольцы в общем были ребята хорошие, но они еще слабо понимали, в чем главные обязанности комсомольца. Комсомолец, чувствовавший себя комсомольцем, только приходя на собрание, — вот главная беда, с которой можно встретиться нередко. В обычной работе он себя комсомольцем не чувствует. Все работают хорошо — и он подтягивается. Все работают плохо — и он работает плохо. Другие, видя беспорядок, бесхозяйственность, молчат — и он молчит. Комсомолец не чувствует еще силы комсомольской организации. «Как же, скажи ему, — говорили комсомольцы в ответ

на мои слова, что о каждом случае бесхозяйственности они должны доложить правлению, если не могут справиться сами, — он тебя облает, и больше ничего».

Ребята не привыкли еще выносить хозяйственные вопросы на комсомольское собрание, чтобы за спиной каждого стояла организация, которую уже никто «облаять» не посмеет. Мое замечание, что на комсомольских собраниях должны ставиться такие вопросы, как, например, о скотном дворе, чтобы комсомольцы обсудили, все ли там в порядке, правильно ли кормят коров, не воруют ли корма, было встречено с интересом.

На следующем собрании мы решили заслушать отчеты комсомольских групп о непорядках в колхозах. Это научит комсомольцев критически относиться к работе и втянет их в борьбу за укрепление колхозов. Я уверен: будет так, что комсомольцы станут в колхозе авангардом и докажут, как умеют работать люди в стране холодных снегов и пылких сердец.

* * *

И вот я уже снова в Еманжелинке, а не в Еткуле. Черт бы побрал головотяпов и головотяпские методы работы! Как мы ни умоляли Уралколхозсоюз, нас не послали бригадой в район, под тем предлогом, что людей не хватает. А теперь в этот же район прислали одну агрономшу из Ленинграда и одного студента из Перми, — так не лучше ли было нас послать бригадой? Да и здесь, в районе, работая на курсах, я уже сжился с комсомольской ячейкой. Мне бы остаться в Еткуле на всю весну, наладить бы работу ячейки. Но нет, курсы окончены, и меня будут гонять гастролировать по районам.

А жалко оставлять еткульских комсомольцев...

## РАЗМЫШЛЕНИЯ НА КУРСАХ ПОЛЕВОДОВ

Товарищи!
Верно, ведь сердце не камень?
Оно ведь волнуется — сердце.
И что же?
Всегда восхищался
Я сам васильками,
А тут обучаю,
Как их уничтожить.
В душе так тоскливо...
Вернешься с курсов,
Расправишь лениво
Затекшие мускулы,
И к жизни
Нет былого вкуса,
И за окном
Беспросветно тускло.

И вот представляю:
Поле ржаное,
Как говорится,
Засеяно «ржою» —
И вот иду я,
Положим, с женою
(но не со своею,
конечно, — с чужою),
А тут
Василечки...
Букеты...
Веночки...
И воздух
Такой раскаленный, летний...
Ах, слишком коротки
Летние ночки
И слишком длинны

Языки у сплетниц!..
И вдруг, представь:
Василечков нету,
Нет сорняков!
А поле пусто...
Как перенесть это
Мне, поэту,
Служителю
Высокого искусства?

Но вот
Мое сердце забилось туже,
И сразу мускулы
Стали тугие,
И стал я мысль
Обдумывать ту же,
Только сравнения
Взял другие.

Как жили помещики
Раньше, с царями.
Гуляли купцы
По расейской шири.
Они трудовые
Поля засоряли,
Они молодые
Посевы душили.
И что же,
Если — единственный случай —
На сотню пузатых,
Тупых паразитов
С косою русой,
С душою лучшей
Одна нарождается
«Донна Розита».
Так что ж,

Что пока, за наживой летая,
На бирже папан
Набивает карманы,
Она на кушетке
Сидит и мечтает,
Поет романсы,
Читает романы.

Так что ж?
К жалобам
Буржуазии
У пролетариата
Что сердце, что камень.
И мы потому
Врагов отразили,
Что их не боялись
Ворочать штыками.
И мы не жалели
И «Донны Розиты».
Пусть лозунг кипит,
По полям бушуя:
«Так да погибнут
Все паразиты
От василька
И до буржуя!»

* * *

Итак, мы едем. То есть теперь-то мы приехали, а не едем, и не только приехали, но и вернулись обратно. Но вы понимаете, что я пишу так, чтобы представить все картиннее: как мы ехали, что говорили, как приехали — словом, все подробности, чтобы все, что живое, вставало бы как живое, а то, что деревянное, так и казалось бы деревянным. Итак, мы едем. Мороз меня не прохватит: шарф у меня намотан вокруг шеи, шу-

ба застегнута на все крючки, на ногах надеты пимы. Ох уж эти пимы! Когда мы ехали, снег лежал на полях, как листы чистейшей бумаги. Но на следующий же день весна принялась за творческую работу. Она перемарала своим «характерным почерком» все эти пространства: она в волнении сажала кляксы; не находя рифмы, она в отчаянии перечеркивала целые поля. Однако я верю в ее талант. Я знаю, что в конце концов из-под пера ее выйдет что-то необычайно яркое, но сейчас, именно сейчас, она поставила меня в затруднительное положение. Расхаживая в пимах по Красному, я был предметом всеобщего удивления. Меня называли не иначе, как «тот, который в пимах», и когда я вышел на сцену и начал: «Здравствуйте все, старики и молодежь, на улице грязь, и в пимах не пройдешь», то дружный хохот грянул в зале. По какому случаю вышел? Терпение, товарищи, терпение! Все объяснится впоследствии. А теперь возвратимся к ходу событий.

Едем мы не как-нибудь — едем бригадой от райкома партии и райкома комсомола на штурм прорывов в подготовке к весеннему севу. С нами на кошеве лежит громадная белая труба. Это сверток бумаги. Для чего она? Для стенгазет. Мы не хотели проехать и бесследно исчезнуть, нет, мы хотели в каждом селе оставить по себе память в виде симпатичного листа бумаги.

Стенгазетное дело цветет у нас в СССР. Листья стенгазет шумят по всему Советскому Союзу. Но прямо надо сказать, что эти листья большей частью несъедобны. Они безвкусны, лишены всякой остроты, да надо сознаться, что и малопитательны. Огромные статьи «к кампании»: к Октябрю, к 8 Марта, к хлебозаготовке, — для кого они? Для того читателя, который не читает центральных газет? Но он не будет читать и такую стенгазету, да и, прочитав, не много понял бы из сухой, подчас малограмотной статьи.

Мы решили отказаться от разъяснительных, сугубо

политических статей и дали лишь одно воззвание к бывшим уральским партизанам, написанное коротко, энергично, большими буквами. В газете был только местный материал. Но и его надо уметь подать. Обычно, когда в нашу тощую сухую стенгазету и попадет что-нибудь питательное, то его просто не умеют приготовить. Я говорил ребятам из редколлегии еткульской ШКМовской стенгазеты: «Вот вы написали, что Зюбанова плохо посещает комсомольские собрания. Ну и что же? Она и сама знает, что плохо, и каждый из вас знает, — заметка никому не интересна. А вот если бы вы объявили в газете громогласный конкурс на изобретение, как затащить Зюбанову на собрание, печатали бы сводки изобретений или нарисовали бы, как ее трактором тащат на собрание, — тогда заметкой бы заинтересовались».

Но возвратимся к ходу событий. Я остановился на том, что мы едем. Нас едет пять человек. Это мало, но в Красном уже находятся две студентки Челябинского педтехникума, которых мы намерены включить в свою бригаду. Эти девчата, Таня и Маня, жили в Красном две недели. Уже, между прочим, успели выпустить и живую газету. Это нас заинтересовало. Нам предложили выпустить еще номер живой газеты по материалам нашей штурмовой бригады. Сказано — сделано. Мы мобилизовали актив, собрали материал, составили частушки, написали раек, разучили вступительный марш, приспособили к местным темам несколько известных песен и т. д., и наконец, все было готово. Я совмещал обязанности автора, режиссера и суфлера; Таня — инструктора по голосу и движению плюс главная исполнительница.

В общем, получилось весело, смеху было много. Когда мы приехали в Коелгу, то, уже не откладывая, взялись за подготовку живой газеты.

Что же было в Коелге? И что за Коелга?

Терпение, товарищи, терпение! Все объяснится впоследствии. Я остановился на том, что мы едем! Через четыре часа езды мы были в Красном. Слезли, как полагается, с саней и пошли пить чай к Марине. А затем? Что было затем? Хотел я все это изобразить как следует и чтобы было красочно, но вижу, что сущность самую уже разболтал, пришлось бы повторяться. Экое ведь перо!

* * *

И вот снова кошева, и снова кони, и снова несутся, и снова вдаль. Все как было — изменилась только погода. Давно ли, кажется, я гулял по растаявшим улицам Коелги в пимах, вызывая смех у прохожих. И вот уже не смех, а снег летит мне вдогонку. Поля опять забелели, полозья заскрипели, метель поднялась. Это пускай: снег нужен. Право, можно подумать, что зима записалась в ударницы и снова принялась за работу. Ведь уже начались разговоры о том, что снегу мало, что предстоит неурожай. Эта мысль, придя, сразу попросилась в стихи. Их сочинением я и занимался всю дорогу (сорок пять километров). Хотя ты и восстаешь против стихов, все-таки рискну их выпустить на этой странице. Не пропадать же добру!

**ЗИМА-УДАРНИЦА**

Срывайся же с цепи,
    Емангул-река,
На редких прохожих
    рычи!
Уже
    засияли
        вверху облака,
Уже зажурчали ручьи.
Отбалагурив
    и отсвистев,

Уходит
    зима на покой.
И так и ушла бы,
    если бы
        степь
Не начала речи такой:
«Послушай, зима!
    Я сторицею дам.
Урожая —
    хватит на всех,
Но
    чтобы в комьях была вода,
Для этого
    нужен снег.
А где он?
    Не веришь —
        взгляни сама:
Чернеют
    поляны вокруг.
Ты злостный прогульщик,
    ты лодырь, зима,
Ты мне не товарищ,
    не друг».
Зима рассердилась сначала,
    потом
Ей краска легла
    на лицо, —
В такое вот утро,
    в просторе таком
Не хочется быть
    подлецом.
«Так что же?
    Мое
        не ослабло
            плечо,

Я все же
еще молода,
Возьмусь
за работу
я так горячо,
Что грянут
везде холода!»
Так падай,
падай,
ударный снег,
Усеивай
степи вокруг!
Ты нужен
второй
большевистской
весне,
Ты пахарю —
верный друг.
Высвистывай ноты
от «до»
и до «ля»,
Под музыку эту твою
Уже
замирают в блаженстве
поля,
Они обещанье дают:
«Мы нынче сторицей
дадим урожай,
Ометы до неба клади!
Засуха — жги,
спорынья — угрожай, —
Мы все равно
победим!»
Зима!
Ты работала нынче
не зря,

Мы покончим
с нуждой
и тоской.
Навстречу тебе
сияет заря
Почетною
красной
доской.

Эти стихи согревали меня долгой дорогой. В самом деле: если при умственном труде затрачивается энергия (а это так и есть), то, по законам физики, часть ее идет на теплоту. И, ей-богу, когда я находил нужную строчку, то сразу как ток проходил по телу, и даже окоченевшие ноги согревались.

### ВТОРОЙ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ...

Еще
на посевные площади
Навалено снега
аршины,
Но уж рвутся
в стойлах
лошади,
Тоскуют
в сараях
машины.
Ведь труд —
это дело
доблести.
Товарищи,
встанем
рядами,
Чтоб соха
из Уральской
области

Отошла бы
в область
преданий!
В то время
как тянет
на убыль зима
И гулы весны
нарастают,
Еще в канцеляриях
глыбы
бумаг
Спокойно лежат,
не растаяв.
А скоро
по трещинам
хлынет вода.
Землей
зачернеют
степи.
Товарищи!
Вот пятилетки года.
Товарищи!
Время не терпит.
Чтоб трактор
вовремя
землю поднял
И дружно бы
шли
комбайны,
Впишите
сейчас же
в повестку дня
Вопрос
о посевкампании!

## УТОНУЛА СОБАКА

Речь будет идти не о собаке. Речь будет идти главным образом о весенней посевной кампании.

Вчера старуха возница, везшая меня в Еткуль, спросила:

— А ты кто такой будешь?

— Агроном, бабушка, — ответил я и замолк, полагая, что ответ в достаточной степени понятен.

Однако оказалось, что это не так. Старуха с минуту подумала, понукнула лошадь и, наконец обернувшись, спросила:

— Ну так, граммофон, что ты, граммофон, делаешь?

Итак, что же я, граммофон, делаю?

Но прежде всего разрешите мне сделать маленькое отступление. Нет, не о собаке: я хочу объяснить, каким образом я выбрал время для настоящего письма.

Сегодня утром прихожу я в контору колхоза, говорю, что вот так-то и так-то, дело вот такое-то и такое. В заключение требую:

— Позовите сюда свиновода!

— Свиновода нет, он уехал в Бектыш.

Что ты будешь делать! Кроме свиновода, никто не знает даже количества свиней. А он вернется только завтра. Таким вот образом у меня образовался целый день свободный, и я могу заняться письмом. Только вот не придумаю, о чем написать. Я знаю, вы напомните мне о собаке, которая утонула. Нет, о собаке я писать не буду, а напишу лучше о другом.

Вот представьте, например, как я подъезжаю к воротам потаповского колхоза (называется он «Имени 22 января»). День теплый. И вот... Но я не уверен, что вы достаточно ярко себе представите все это. Вглядитесь же, прошу вас: конь черный, но не такой иссиня-черный, блестящий, как его рисуют обычно. Нет,

такой, как будто его намазали ваксой, а щеткой еще не чистили, и он черный, взъерошенный, но не блестящий. Над глазами — бархатные ямки маленькие, а глаза у него как синие жуки, — знаете, такие, которые над прудом летают? Ноги тонкие до жалости, а гороховидная кость выдается. К этому добавьте дугу, согнутую, как ей полагается, возок обыкновенный и, наконец, меня — меня-то уж, я надеюсь, вы представляете?

Итак, мы въезжаем на потаповские улицы — они полны людьми. Платочки у девушек красные, рубахи на парнях красные, лица тоже красные. Однако, несмотря на это, впечатления революционности не создается. Наоборот, все это как будто угнетает.

Почему? Потому, что день сегодня майский, очень приветливый. Потому, что лежат в поле пласты, навороченные плугом, лежат и сохнут, как от любви. Потому, что неудобно устраивать выходной день, когда надо бы сеять и сеять. Не от стыда ли так горячо пылает солнце? И сами люди кажутся немного смущенными, а выпитые пол-литра придают им излишнюю совестливость и предупредительность.

— Я извиняюсь, — говорит человек, сидящий на ступеньках у конторы, — может быть, я вас побеспокоил? Я извиняюсь...

Я вхожу в контору. За столом уныло сидит человек с кислым выражением лица (не таким кислым, как лимон, а таким, как кислая капуста).

Я спрашиваю:

— Где же председатель?

— Уехал в район, — отвечает человек сладким голосом, так не идущим к его кислому лицу.

— А кто его замещает?

— Я.

— А кто распорядился сделать сегодня выходной день и по каким соображениям?

— Колхозники, общее желание колхозников, — отвечает сидящий и ищет сочувствия на лицах обступивших нас колхозников.

Но они суровы.

— Да мы ничего... Мы бы не против и работать — так правление распорядилось. Вот если только кони...

— Да, кони... — вздыхает другой.

Действительно, кони тут больной вопрос.

— По крайней мере, садилки надо было пустить, хотя бы в две смены лошадей!

Молчание.

— Да что садить-то без толку! — неприязненно вставляет другой колхозник. — Садилки садят неправильно.

— Как неправильно?

— А так, — оживляясь, говорит колхозник. — Ты скажи, хорошее ли это дело, если мы на тридцати десятинах посеяли сто тридцать пудов? А?

Через минуту мы уже на площади, окруженные десятком зевак. Берем, выкатываем садилки, подстилаем брезент, обмеряем, высчитываем, вертим.

Первая же садилка, как оказалось, высевала... шестьдесят килограммов (нужно девяносто). Вторая — сто и т. д. Бригадиры ахали вокруг; те из них, чьи садилки садили правильно, удовлетворенно улыбались. Таким путем мы проверили все шесть садилок по два раза: на сухое и влажное зерно (шла протравка формалином). Все установки записали, роздали бригадирам. Во время таких наших занятий подъехал и председатель колхоза. Поэтому мы, не теряя времени, устроили заседание правления с активом колхоза. Сменили полевода, который ни разу не был на поле и допустил разрыв между пахотой и севом. Обсудили выполнение рабочего плана — моего чернильного детища — и внесли в него некоторые изменения.

Уже было темно, когда я отправился на отведен-

ную мне квартиру. Улица уже шумела и звенела по-вечернему. Вдали завизжала гармонь. Залаяла собака (не та, которая утонула. О, та в другом смысле!), заскрипели ворота. Я вхожу в комнату. Самовар, неизменный друг самовар, встречает меня на столе. Видно, что он пылает ко мне самой горячей дружбой, но я отношусь к нему холодно. Он порядком надоел мне во время моих бесконечных скитаний. Он лицемер, он фальшивый, он пуст внутренне, хотя и блестящим кажется снаружи. Хоть он мне и земляк (из Тульской губернии), но я все же скажу, что он не строитель социализма, и недаром на смену ему идет молодое поколение примусов. Может быть, вы скажете, что я слишком жестоко отношусь к самовару, но посудите сами: утром самовар, вечером самовар... «Идите обедать!» — зовут меня, и я вижу на столе все тот же самовар. Тут вообще трапезу называют не по существу, а по времени, в которое она происходит. По-нашему чай остается чаем, когда бы его ни подали, а у них не так. Я помню, как в Назарове мы с хозяином вошли в избу, и он сказал: «Ну, сегодня у нас будет генеральский обед...» Я думаю: «Что же будет?» А оказывается, генеральский в том смысле, что поздний: генералы всегда в пять часов обедали.

Но уже поздно, кладу ручку и заканчиваю письмо. Да, я должен рассказать все-таки о собаке. Дело в том, что тут много татарских слов — Еткуль, Каратабан, Бектыш, Коелга, Еманжелга. Я расспрашивал об их значении, но не мог добиться удовлетворительных ответов. Узнал только, что Еткуль — значит «глубокое озеро» и Еманжелга — «утонула собака». Вот и все, что мне известно о собаке. Но при каких обстоятельствах она утонула и пришел ли кто-нибудь ей на помощь, это мне ничего не известно. Может быть, дальнейшие исследования прольют некоторый свет на эту загадочную историю.

## ЗАРЯ В КОММУНЕ «ОБНОВЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ»

Представьте:
теплый
и мягкий
хлеб,
Еще отдающий
золой и печью.
Представьте:
чистый
и светлый
хлев
И в прорези
милую
морду овечью.
Представьте:
низкий, угрюмый лог,
Ветер,
свистящий
по ряби луга.
Представьте:
простой
человеческий лоб,
Четверка коней,
рукоятка плуга.
И, свистя
на все голоса,
Поворачивая с тракта,
Сюда
приближается к пашне
сам
Товарищ трактор.
Зачем он идет?
Ведь вечер уже!
Ведь кони
идут на покой!

Но трактор
взаправду
гудит на меже
И пашет,
чудак такой!
Прямыми рядами
ложатся пласты,
И тает в воздухе
серый дым
Под этим небом,
седым и простым,
Над этим лугом,
простым и седым.
Ты чем
так встревожена,
синяя даль?
Зачем твои звезды
горят?
Тебя проезжают
и плуг
и рондаль,
Они меж собой говорят:
«Нас в дыме
и гуле
рабочий ковал,
Бил молот,
и ныло плечо.
Задача наша
теперь какова?
В работе
жить горячо!
Рабочий
сердце
вкладывал в труд.
Он думал
коммунам помочь.

Так что же
должны мы
делать вот тут?
Работать
и день
и ночь!
Пройдем же еще
вон той стороной,
Нацелим
железо в упор».
Так
у трехкорпусного
с бороной
Дружеский
шел разговор.

* * *

Первое мая!

В этот день у вас в Москве слышен гул миллионов, полыхает пожар знамен. Рабочие и работницы идут в одном ряду с Чемберленом, а Чемберлен сделан из картона, и у него отвратительная рожа. Людские колонны идут вместе с оркестром, оркестр играет и помогает ногам идти. Весело брызгая грязью, проносятся автомобили, наполненные ребятишками. Густые людские колонны проходят через Красную площадь.

А у нас в Конвитове нет Красной площади. У нас ни знамен, ни оркестров, ни автомобилей. Но мы не хуже отпраздновали, право, не хуже.

Празднование началось с раннего утра. Только что родившееся солнце с улыбкой оглядывало землю, а заря тянулась еще кровавой плацентой, когда табор проснулся и люди зашевелились. Свежий ветер шумел листвой деревьев, как знаменами. Солнце медленно поднималось на трибуну неба. Люди, волнуясь и спеша,

возились у лошадей. 15 минут, и готово — первомайские колонны выступили в поход. Бороны заблестели своими молодыми зубами, тяжелые тринадцатиногие садилки побежали, врезая в землю свои башмаки. А на другом участке сверкнули буккера, плуги, культиваторы. Лошади молодо шли, переступая по комьям пашни.

Вы скажете: да это же труд! Нет, это дело доблести и геройства. Вы скажете: это же будний день — нет, это веселый праздник, ибо идет большевистская весна. Ибо конвитовские колхозники постановили: «В дни весеннего сева дорог каждый день. 1 Мая, праздник труда, провести в поле и показать в этот день ударные нормы выработки». Это постановление не было обязательным. Кто хотел, мог вечером заявить об этом и первого мая быть свободным. Но таких во всех трех бригадах оказалось лишь двое.

В обеденный перерыв все три бригады сходятся вместе. В котлах уваривается, пузырится жирными блестками первомайский обед. Мы стоим с Пятиной, студенткой совпартшколы, и разговариваем о проведении митинга. «Что это за знамя?» — спрашивают ребята с бороновалки. В руках у Пятиной действительно свернутое вокруг древка знамя. Она молчит.

Сначала коротенький доклад, затем мы устраиваем проверку договоров соцсоревнования. Притаскиваем большую черную доску. Графили ее вертикально на три части — раз, два, три — это по бригадам, горизонтально на 10 — это по пунктам договора. Каждый выполненный пункт отмечаем +, невыполненный —. Посмотрим, у какой бригады окажется больше минусов. Колхозники, заинтересованные, толпятся вокруг.

Читаем первый пункт: «Бригадиру довести до сведения бригады нормы выработки по всем машинам».

«Это мы знаем!» — раздаются голоса.

«Как не знать!»

«Всем плюсы!»

«Постойте, — говорю я, — сейчас мы проверим. Сначала первая бригада. Кто из первой бригады, поднимите руки».

Восемнадцать рук.

«Ты, например, на чем работаешь?»

«На буккере».

«Какая норма выработки?»

«2 га».

«Верно! А ты на чем?»

Белоголовый парнишка смутился.

«На кутьливаторе».

«А норма какая?»

«Позабыл».

«Кто из этой бригады знает норму на культиваторе?»

Колхозники морщат лоб, вспоминают мучительно, не хотят получить минус.

Напрасно — даже бригадир позабыл.

«На всем знаем, только на культиваторе позабыли».

Под общий смех заносим бригаде минус.

«А из других бригад кто знает?»

«Три га!» — кричат голоса. Они хитро молчали.

Так идет проверка.

Когда все пункты проверены и занесены на доску как наглядная характеристика работы всех бригад, интерес колхозников достигает высшей точки. По всем данным выходит на первое место вторая бригада.

Тогда я развертываю наконец таинственное знамя и передаю его бригадиру второй бригады. Большими белыми буквами на нем выведено: «Передовикам весеннего сева». Бригада обступает знамя. Бригадир хочет скрыть радость, но она у него пробивается сквозь усы. На лицах колхозников других бригад разочарование и зависть. Но разочарование сменяется воинственным настроением, когда они узнают, что знамя переходное и будет вновь присуждаться каждую пятидневку.

«Ну, поглядим еще, у кого оно будет», — говорили колхозники, расходясь по своим бригадам.

Ребята же просто прыгали около знамени и кричали: «Отберем, отберем!»

«Как же!» — отвечали им.

Потом мы устроили вечер вопросов и ответов. Накупили мыла, табаку, зеркал, карандашей — это премии. Составили 40 вопросов. Вечер прошел очень оживленно. Правда, были некоторые шероховатости. Вопрос «Почему ты не комсомолец?» достался древнему старику и вызвал всеобщий смех. Вопрос «Кто больше всех прогулял в колхозе?» вызвал страстные споры — пришлось прибегнуть даже к голосованию.

Поздно вечером веселые и оживленные колхозники разошлись по домам.



## В ЛАБИРИНТАХ ФАКТОШИФРА

*«Давно уже, с юношеских дней я не был влюблен по-настоящему» — эти слова написаны 22-летним Чекмаревым. Он уже не считал себя юношей, и его юность представлялась ему чем-то очень давним. Да, во многом он был старше своих сверстников — его серьезность, начитанность, последовательность поступков взрослили его. Но в чем-то он оставался более юным, чем многие его товарищи. Он долго не мог глубоко увлечься девушкой, испытать настоящее «взрослое» чувство. Но чувство все же пришло. «Я полюбил Тоню за голос — теперь я это понимаю», — такое признание нашла я в одной из его записных книжек. Сергей полюбил Тонино пение, еще не осознав, что любит саму исполнительницу. И когда он это понял, счастливее его не было человека на земле — так ему казалось! Разные этапы в истории этой любви нашли свое отражение в его письмах к Тоне и в прозе, и в стихах. Вначале это юношеская влюбленность, в которой все наполнено безотчетной радостью, надеждами, непередаваемым очарованием. Здесь не было еще места горестным раздумьям, сомнениям, мучительной тоске. Все это*

*придет, но позже. А пока «приятно быть около любимой, смотреть на нее и слушать ее, с кем бы она ни говорила... Это был первый период любви».*

*Но чувство росло и крепло с каждым днем, с каждой встречей и наконец потребовало взаимности. И тут вдруг выясняется самое страшное — Тоня любит другого человека, и, следовательно, Сергея она любить не может. О том, как начиналась эта любовь, рассказано в этой главе.*

---

*Из дневника*

Так нельзя ходить, как я хожу, таким сумасшедшим, так нельзя тосковать, как я тоскую. Надо хоть немного ослабить подпруги тоски. Надо своею тоской с кем-то поделиться, она от этого меньше будет, — так даже математика говорит.

Я давно догадался об этом, что поделиться нужно, но с кем, с кем? Такого друга у меня нет, которому все можно было бы рассказать, то есть я думал, что его нет. А сегодня вдруг вспомнил, что он есть. Вспомнил — и даже сердце радостно забилось: друг настоящий, искренний друг у меня есть! Друг такой, перед которым душу можно раскрыть, как окно в душную ночь, которому мысли можно доверить, как тигрят тигрице, — друг такой есть!

И вот сегодня утром я порылся в корзине, достал друга, ибо друг этот — бумага, и начинаю разговор с ним, самый искренний и задушевный.

Вот почему я начинаю этот дневник, который и будет моим собеседником.

Постараюсь изложить все по порядку. Этому помогут те записи, которые привык я делать ежедневно. Это не дневник и даже не подобие дневника. Нет, это фактошифр, как я называю. Это краткая, неразборчивая запись о случившихся .за день фактах, запись, понят-

ная лишь для меня одного. Никто более в моих крючках не разберется. Даже и сам я подчас в них путаюсь и, позабыв, что к чему, бывает, на миг теряюсь, ища смысла набросанных мной таинственных каракуль.

Но тихо пробирается по извилинам мозга память, и вдруг, как молния, озаряет сознание, и каракули приобретают глубокий смысл.

* * *

Давно уже, с юношеских дней, я не был влюблен по-настоящему и очень быстро разочаровывался во всех женщинах, с которыми встречался за последние два года. Часто меня влекла к себе чья-нибудь улыбка, блеск глаз, игра теней на лице. Я искал сближения, но проходило три дня, четыре, самый большой срок три недели, и я уже охладевал и успокаивался. Сквозь прежнюю, такую увлекательную улыбку видел я умственную вялость, в прекрасных глазах только желание понравиться, а игра теней на лице прекращалась, ее не было, если в это лицо вглядеться, поближе узнать его.

Мне жалко было моих кратковременных «влюблений», я старался воротить их, старался раздуть в сердце огонек.

Эти дни, когда я был влюблен, мне нравились, в них жилось по-особенному и работалось лучше: мечта — необходимый составной элемент в жизни.

«Скучно, когда в сердце нет жильцов, — говорил я. — Нет, не скучно, а страшно, когда там нет жильцов».

Страшно, что вся жизнь пройдет вот так, без горячего чувства, без той лихорадки ядовитой, которую я краешком захватывал, пройдет, как эта холодная ночь проходит, как поезд проходит, и жизнь не вернешь так же, как поезд.

Где и с чего начинается первая глава моей повести?

Она начинается в тесной и веселой комнате редакции нашей многотиражки. Да, она начинается в этой комнате, с которой у меня связано немало воспоминаний, где резко и хрипло звенит телефон, где весело, как огонь, потрескивает пишущая машинка («Наш обожаемый монарх» — называем мы ее, потому что машинка системы «Монарх»), где свалены кипы газет, наброcано, насорено, и всегда два или три человека строчат что-нибудь, блаженно или ядовито улыбаясь.

...Глупо и неверно пишут иногда в романах про любовь. «Лицо ее сразу врезалось ему в память», «стояло как живое», «преследовало» и т. п. Как раз бывает наоборот. Чем сильнее поражает тебя лицо, чем больше оно затрагивает сердце, тем труднее его запомнить. Вместо лица в памяти остается какой-то неясный образ, какое-то отравляющее мозг впечатление — и только. Да это и с точки зрения физиологии понятнее. Сильное впечатление оглушает, парализует мозг, и он отказывается работать, как обычно, — запечатлевать в памяти лицо.

Так у меня было с Тоней. Лица всех девчат — Кати, Лиды, Тоси — я представлял и помнил хорошо. Тониного же лица не мог запомнить очень долго. Иногда оно, это лицо, промелькнет в памяти, как молния, и, как молния, потухнет.

## В АНАТОМИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

Вниманием дышат лица...
Раскрыты веером уши...
Здесь молодежь толпится
Около теплой туши.
У края стоит с ланцетом
Бровар *,
слова бросая:

* Преподаватель анатомии.

«Мускулюс массетер...
Внутренняя косая...»
Бродит, волокна сминая,
Рук его отпечаток.
«Вот здесь — спинная,
А вот — край зубчатой...»
Но из всех объяснений
Я только одно лишь понял,
Одно лишь мне стало яснее,
Что лучшая девушка — Тоня.
Что бродит по комнате мука,
Что сердце стучит у Тони
Таким серебристым звуком,
В таком мелодичном тоне.
И когда мы вышли на воздух
И ночь зацвела голубая,
Это небо, рябое в звездах,
Так хорошо улыбалось.
Колючая вьюга снега
Так бушевала чудесно
И шорох такой шел с неба,
Что в сердце слагалась песня.
Даже луне стало грустно,
Плывущей в лиловом блеске,
Что в небе ужасно пусто
И ей целоваться не с кем.

## ТОВ. ТОНЕ, ЧЛЕНУ РАЙСОВЕТА, ОТ ЧЕКМАРЕВА

*Заявление*

Под мягким светом
электрошаров
Вы сидите в глубинах кресел,

Чтобы каждый в республике
    был здоров,
И сыт,
    и румян,
        и весел.
Но дерзаю от срочных дел
Вызвать тебя с заседания.
Тоня! парень один заболел,
Прошу обратить внимание!
Правда,
    парень
        не слишком умен
И с довольно посредственной
    рожей,
Какая-то куртка
    надета на нем,
И кличут его Сережей.
Он в стены впивает
    измученный взгляд.
Смотрите,
    какой он рассеянный!
Он и не слушает,
    что говорят
Про шахты
    и про бассейны.
Он не листает
    ученых томов.
Он не пишет конспекта.
Но в сердце его
    расцветает любовь
Всеми цветами спектра.
И кроме тех дум,
    что жгут,
        как мороз,
Что в душу
    стучатся, как в стекла,

Весь мир,
    ему кажется,
        скукой зарос,
Вся жизнь
    отцвела и поблекла.
Брести в столовую?
    Ради чего?
Питаться соленою рыбкою?
Ах, он погибнет,
    если его
Не ободрить улыбкою!
Твоею улыбкою, Тоня,
    да,
Прекрасною, милой такою.
И сразу бы муки
    не стало следа,
Тоску бы
    сняло, как рукою.

* * *

Был у Тони. Пригласил ее в Политехнический на вечер поэтов. Стоит ли описывать вечер? Все равно не опишу. Я сидел с нею, кажется, в третьем ряду, любовался ее улыбкой, следил за движением лица, ревновал к Кирсанову и Луговскому, на которых она, как мне показалось, очень много смотрела. В общем был глуп и счастлив.

С вечера я провожал ее до 41-го. Шел редкий снег. Погода такая хорошая, небо такое хорошее.

— Ну, пока, — сказала она, прыгая в трамвай. — Будешь писать, конечно, мелким почерком.

Да, Тоня, вот пришел и сижу, пишу мелким почерком.

Я помню себя на следующее утро. Я был беспричинно и чудесно счастлив. Все радовало, все казалось пре-

красным, ни на кого я не был в силах рассердиться. Мне даже самому было удивительно это мое радостное настроение. Ведь ничего же не случилось, думал я. Если бы я хоть раз поцеловал ее, а то ведь не было этого, и слова ни одного о любви не было сказано, и ничего, ну ровно ничего не было. Но все-таки счастье так и разливается по телу. Отчего? Ну, просто оттого, что весь вечер сидел рядом с нею, смотрел на нее, говорил с ней.

Не знаю, как это объяснить. Вообще приятно быть около любимой девушки, смотреть на нее и слушать ее, с кем бы она ни говорила. Но если она пойдет куда-либо со мной, только со мной и будет разговаривать дорогой со мной, только со мной, и смотреть на нее буду я, только я, то это уже что-то гораздо больше и лучше. Так, солнечные лучи вообще греют, но если их линзой свести в один фокус, то они жгут.

...Это был первый период любви, когда просто хочется быть вместе и когда вполне счастлив бываешь только оттого, что вместе.

## ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Стих написан
В лирическом тоне,
Кому посвящаю?
Конечно, Тоне!

Восьмого, в восемь часов утра,
Проснулся я с мыслью одной:
Сегодня горячим и нужным делам
Отдам я свой выходной.
Первое: надо усвоить на «ВУ»
Что-то о видах металла.
Второе: прочесть шестую главу
(Третий том «Капитала»).
Затем поработать часика три
Над своей «Ильичевкой»:

Каждую фразу заострить,
Сделать легкой и четкой.
План замечательный — что и сказать!
Расчет был довольно тонкий,
Но только одно не учел я: глаза,
Глаза и улыбку Тоньки.
Напрасно я в книгу глядел, как баран,
Я в ней даже букв не заметил.
На сердце поднялся такой буран,
Такой сумасшедший ветер.
Мечты маршируют, как роты солдат,
И мысли несутся, как конница,
Из всех событий, имен и дат
Одно лишь на свете помнится:
Как она засмеялась, вошла, ушла,
Задумалась, руку пожала
И как улыбкою сердце жгла
Больнее и ярче пожара
И ярок чувств распущенный спектр,
Он мозгу командует:
«Стой!»
И вот закрывается скучный конспект,
Раскрывается Лев Толстой.
Плыви, как в тумане, волнующий шрифт,
Горячие мысли, теките!
Вот Долли рыдает, измену открыв,
И в вальсе кружится Китти.
Оркестр, мелодию заиграв,
Созвучия в уши бросает.
И тут появляется Вронский — граф,
Богач, адъютант и красавец.
Он к Китти стремился лучистой мечтой,
Любовался улыбкою, бровью
И думал наивно, что чувствует то,
Что люди зовут любовью.
Но любовь — это перец, огонь и желчь,

Это розой цветущая рана.
Она обязана мучить и жечь,
Она не выносит спокойную речь...
И в платье, открытом почти до плеч,
Входит Каренина Анна.
И сердце графа дает перебой,
И граф отдается смятенью,
Уже становится он не собой,
А ее отраженной тенью.
Сердце Анны ужалено тоже,
Но Анна замужем, Анна — мать,
Но, боже, она ведь любить не может,
Это ведь надо же понять!
Анна с тоскою не в силах справиться.
Анна едет в Санкт-Петербург,
Прижав холодные тонкие пальцы
К такому горячему, милому лбу.
Ах, скорее домой, и там бы!
Встретили Анну ребенок, муж!..
Анна встает и выходит в тамбур,
Чтобы ветер сердце избавил от мук.
Тянется леса рисунок броский...
И сразу в ушах волнующий звон:
Боже, чьи это губы?
Вронский!
Да, сомненья нету, он!..
Он стоит уже с нею рядом.
«Стоять? Повернуться? Уйти назад?»
Но Анна не может спрятать радость,
Жгущую губы ее и глаза.
Ведь это не нужно спрашивать даже,
Ведь это же ясного ясней,
Что он для того лишь стоит на страже,
Чтобы быть тут, в поезде, рядом с ней.
Что он стоит среди урагана,
Где вихри снега и стали гуд,

Лишь потому, что дорога ему Анна,
Что так волнующ изгиб ее губ...

Но не буду пересказывать дальше содержание «Анны Карениной», оно известно всем. Я читал до вечера, увлеченный шелестом страниц. Лишь вечером я отклеил глаза от книги, не как отклеивают мух от меда, а как отклеивают бинт с присохшей кровью от раны. Затем я принялся за чтение учебников. Затем..

Затем — железом звенит засов,
Входят приятели — нет спасенья!
Затем начинается гул голосов
И долгое рук трясенье.

— Ага, Сергей, оторвался от масс?
— Молчишь, брат, и крыть, значит, нечем?
Слушай, Сережка, идем сейчас
На литературный вечер.
— А кто читает? — Сельвинский сам.
— А где это? — В клубе ФОСПа. —
И в сердце вспыхнула страсть к стихам,
Как вспыхивает оспа.
Я чувствовал: надо всех выгнать вон
И засесть за том «Капитала»,
Но вечер, но строчек волнующий звон,
Отливающий гулом металла...
Я видел, пылая, горя от стыда,
Что я поступаю по-свински,
Но все-таки взял и поехал туда,
Где выступал Сельвинский.
Вжатый, втиснутый в номер «Б»,
С какой-то дамой напудренной,
Я стоял, покорный судьбе,
Пока не доехал до Кудрина *.

* Кудринская площадь, ныне площадь Восстания.

И вот, расставшись с последним рублем,
Я думал, вбегая в сияющий клуб:
«Глуп ли я оттого, что влюблен?
Или влюблен оттого, что глуп?»

## ПРИГЛАШЕНИЕ В ФОТОГРАФИЮ

Я говорил тебе не раз
Простой и стихотворной речью:
Как у тебя, таких вот глаз
Я в жизни больше уж не встречу.
В пылу тоски, в бреду ночей
Такие лица только снятся.
И тем обидней и горчей,
Что ты никак не хочешь сняться.
Ты скажешь: «Вот они, взгляни!»
И веер карточек разложишь.
«Скажи, не правда ли, в те дни
Была я лучше и моложе?»
«Нет, — говорю я, — Тоня, нет!
Там пестрота, там лесть, там ретушь,
Какой ни выбери портрет,
Такого выраженья нет уж...
Да ну же, Тоня, что с тобой?
Ну, милая, скажи «угу».
И мы ковровою тропой
Пойдем под вольтову дугу».

* * *

Хорошо: ну, приходит Тоня,
Но зачем же срываться с места?
Зачем глядеть беспокойно
И вступать в разговор неуместно?
Сережа! Еще немного,
И что от престижа останется?

Ты должен держаться строго,
Как член редколлегии «Сталинца» *.
Но на такие речи
Я лишь головой качаю.
Я лишь поднимаю плечи
И сам себе отвечаю:
«Товарищ! В чем дело? Ну пусть он студкор,
Пусть пишет острее перца,
Но скажите: с каких же пор
Он не имеет сердца?
Нет, он имеет его! И вот
Вам результат наглядный:
Он уже ходит, как идиот,
Он очарован взглядами».

* * *

...Я гляжу больше на Тоню, чем на сцену. По правде сказать, так даже все время гляжу на Тоню, а на сцену только взглядываю иногда для приличия... Я до сих пор помню и никогда, кажется, не забуду это ощущение потушенного света в зале, музыки и хора, бархата стульев и мучительно милого лица рядом, лица, окутанного полутьмой... Весь вечер прошел для меня, как легкий бред.

...Почему после того вечера десять дней назад я был так счастлив, а сейчас мне так тяжело? Объяснений нет, кроме того, что яд любви добрался до сердца, что мне мало того, чтобы Тонин висок был около моего, что что-то нужно было еще, чего не было, и от этого тоскливо...

Разговор не клеился, опять повисла тяжелая гиря молчания. Что было делать мне? Жаль было того вечера, хотелось как-то вернуть вчерашнее возбужденное

* Многотиражка мясо-молочного института.

Тонино лицо, хотелось как-то сразу, как паутину, разорвать, освободиться от этих тяжелых отношений. Не надо больше говорить, не надо приходить каждый вечер, надо взять ее за плечи и привлечь к себе. Так я думал сделать. Но не так просто было это сделать, хотя, казалось бы, чего тут трудного?

Предположите, что перед вами плотная доска, дубовая, шириной сантиметров двадцать. Попробуйте пройти по ней, не наступая на землю, — очень просто, да? Но перенесите эту доску над пропастью, и вы уже не скажете, что это просто. Так вот, мое намерение — это та же доска, а пропасть — это моя любовь к Тоне.

* * *

Я скажу тебе «прощай»
Вместо «до свидания».
Только ты не обращай
На меня внимания.
Ты засмейся и тряхни
Головой беспечною:
«Ведь нельзя же в наши дни
Жить любовью вечною».
Зачем, зачем блестит слеза
И губы желчью полнятся?
Мои же серые глаза
Недолго будут помниться.
Ведь мой же профиль не прямой
И губы цвета камеди,
Они забудутся тобой,
Они уйдут из памяти...



# ПОВЕСТЬ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

*Историю своей любви к Тоне Сергей называл «повестью». «Где и с чего начинается первая глава моей повести» — этими словами открывается его дневник, в котором описаны подробности этой первой и единственной в его жизни любви.*

*Самые мужественные страницы «повести» дают представление о той нелегкой борьбе, которую пришлось вести Чекмареву за право стать для Тони необходимым человеком, а для ее сына заботливым отцом. Пожалуй, самым трудным в эти дни было для него внезапно наступившее одиночество. Ни в ком из своих товарищей он не мог найти поддержки, подлинного сочувствия. Недруги всячески злословили и высмеивали проявленное им «дурацкое рыцарство», друзья, доброжелатели пытались убедить его в том, что Тоня ему «не пара», что «впереди у него большая жизнь» и что он еще встретит другую, более «достойную» девушку. Что касается родителей, то ничего, кроме горького разочарования и осуждения, он не мог прочитать в их глазах. Отсутствие моральной поддержки у окружающих, с одной стороны, и холодное отчуждение Тони — с другой, могли бы надло-*

*мить душу даже у более закаленного в житейских передрягах человека. Однако Сергей не надломился. «И все уже ненужное я стряхиваю с лет» — так напишет он год спустя в одном из лучших своих стихотворений. И в эти трудные дни, о которых идет речь в настоящей главе, он также отбрасывает все «ненужное»: и обидные соболезнования, и насмешки, и уязвленное самолюбие. Сила чувства, внутренняя убежденность в своей правоте помогают добиться поставленной перед собой цели — облегчить и по возможности скрасить омраченную неудачей жизнь любимого человека.*

---

* * *

Я был как пораженный громом,
Не мог дыханья перевесть.
Я покраснел, я стал багровым,
Когда услышал эту весть.
Так беспокойно, так тревожно
По коридорам я бродил.
И если б это было можно,
Я сам бы за тебя родил.
Как на душе темно и зыбко,
Как мысли гаснут на лету!..
Тяни, тяни мелодью, скрипка,
Но только выбери не ту.
Ты о любви довольно пела,
Теперь о том ты простони,
Как в муках бьется чье-то тело
На льду колючей простыни,
Как сведены в страданье брови,
Как тяжек груз горячих век,
И как рождается из крови
Комочком синим человек.

* * *

Тоня! Вчера я тебя не поздравил (просто не сообразил), разреши хотя бы с опозданием поздравить сегодня. Передай привет маленькому милому человечку, которому идет уже сорок второй час от роду. Мне бы хотелось на него поглядеть. Хотелось бы очень и тебя увидать, но что поделаешь, если нельзя. Напиши несколько слов, как твое здоровье, настроение. Напиши, чего тебе хочется, я привезу. Только не пиши, Тоня, чтобы я не приезжал.

## ПРОЧТИ, ПРОСТИ...

За этим платьем, ярче меди,
За этой лентой голубой,
Прости меня, я не заметил,
Что у тебя на сердце боль.
Что ты измучена любовью,
Что эта жизнь тебе узка,
Что под твоею светлой бровью
Такая черная тоска...
Прости... Быть может, даже пошлым
И глупым иногда я был
И, незнакомый вовсе с прошлым,
Тебя невольно оскорбил.
Прости... Но этим страшным ядом
И я отравлен, как и ты.
И я ловлю печальным взглядом
Свои разбитые мечты.
Быть может, знай я все вначале,
Я прежним парнем мог бы быть!..
Но уж теперь моей печали
Не разогнать, не потушить...
Я буду здесь и буду злиться,
Я буду верен до конца.

Из сердца все на свете лица
Не выжгут твоего лица.

* * *

Я не допускал мысли, что ты можешь умереть. Это было бы слишком страшно, слишком ужасно. Я просто отбрасывал эту мысль, потому что знал, что, допусти я ее, — она меня сведет с ума. Это было очень важно — то, что там с тобой происходило, — и мучительно, и значительно в одно и то же время. Это ведь экзамен на женщину. Что будет, как это произойдет, что предстоит перенести, каков он будет, этот маленький люденыш, хороший ли он получится, — эти мысли разве не колотились в твоем сердце? (Ведь ты, Тоня, во многом еще девочка.) И ведь правда, страшно было? Вот и мне было за тебя страшно. Я хотел представить, как ты лежишь там, в больнице, — и не мог: фантазия не повиновалась. Представлялось такое усталое, такое милое лицо, которое было у тебя однажды на вечере в химичке, когда мы ушли с «Синей блузы», — помнишь? Память схватывала то твою руку, то прядь волос, а в ушах звучал твой голос.

Назавтра я был в больнице. Пришел я первым. Когда я узнал, что ты родила, и благополучно, мое лицо сразу просияло, и няня мне улыбнулась и пошла узнать — мальчик или девочка.

— Сын, — сообщила няня, вернувшись.

Должно быть, у меня при этом было радостное лицо, потому что какая-то старушка, подошедшая в это время с передачей, глядя на меня, тоже стала улыбаться.

— Ишь, как хорошо, когда сын! — сказала она. — Дочке не так радуются.

«Он такой же мне сын, бабушка, как и тебе», — хотел я сказать, но не сказал, конечно.

«Я очень счастлива», — написала ты. Я очень рад за тебя. (А помнишь, Тоня, помнишь, как ты недавно декламировала Шевченко, пела и сказала потом: «Это все прошлое, а где настоящее? Его нет».) Я понимаю твою радость и любовь к сыну. В самом деле: когда соберешь какой-нибудь паршивый карбюратор, и то чувствуешь невольно маленькую гордость: вот, дескать, были какие-то стерженечки, крышечки, а получилась красивая вещь.

А тут не карбюратор, а человек, и не собран тобой, а создан, выношен, пронесен через такую долгую тоску, через такие мучения — но пронесен все же! — и лежит теперь такой хорошенький, теплый, милый и курносый.

А с другой стороны, мне грустно, что ты очень счастлива. Значит, сердце твое наполнено, и мою любовь тебе поместить некуда. Ох, а ведь ей много надо места!..

Но ладно, подальше от грустных тем, буду стараться писать про смешное. А что смешное? Смешного мало. «Сам ты смешной», — может быть, скажешь ты, прочитав это письмо.

На этом ставлю точку. Хотелось бы писать еще и еще, да и письмо получилось пока не такое толстое, какое я обещал. Но иначе я не успею решить задачу по организации территории, а это ведь недопустимо, правда, Тоня? Ты меня за это стала бы ругать. Поэтому скажу до свиданья. Как хочется тебя поцеловать!..

Если найду время, завтра напишу еще.

Тоня, как ты назовешь сына? Тоня, правда ведь, не так, как звали отца, не так, Тоня, да?..

* * *

Он обучался в высшей школе.
Он образован, он доцент,
Но в сердце — хоть бы искра боли,
Тоски — хоть бы один процент!

«Ты не криви так горько ротик
И к моему склонись плечу,
Ведь я любить тебя не против,
Но я ребенка не хочу».

**ПОДУМАЙ-КА!**

Тоня! Глаз твоих водоем
Свежестью плещет такою,
Может, и правда, по жизни вдвоем
Идти нам рука с рукою?
Быть молодыми, окончить вуз,
Дышать глубоко, трудиться,
И пусть смеется нам карапуз,
Который должен родиться!

* * *

Итак, она продолжает его любить! Вот и вся тайна. Просто и естественно: она продолжает его любить! Больше ничего. Я тут ни при чем, и моя любовь ни при чем. Они разошлись. Я думал: раз они разошлись, то и любовь кончилась. Это казалось мне само собой понятным, я и не спрашивал даже, иначе для чего же расходиться? А оказывается, нет. Трудно описать, как поразило меня это открытие...

* * *

Мне часто враги твердили,
Да и приятели тоже:
«В этом хитро устроенном мире
Ты глуп, дорогой Сережа.
Ты будешь всегда всех ниже,
Да и умрешь без славы».
Увы мне! Теперь я вижу,

Что все они были правы.
Ах, был бы умен я, не стал бы
С тоскою бродить по аллее!
Ах, был бы умен я, не стал бы
Так глупо вести себя с нею!
Не стал бы с бунтующей кровью
Часами сидеть в отчаянье!
Следить за светлою бровью,
Ловить головы качанье,
Я знаю: все это напрасно,
Но что же мне делать с собою?
И с платьем вот этим красным,
И с лентой вот той, голубою?..

* * *

Говорят, что утро вечера мудренее. Но эта пословица, во всяком случае, неприменима к утру шестого декабря. Вечером я был возбужден, взволнован, глуп, может быть, но все же был нормальным человеком. А утром, — я не знаю, как описать это, — во всяком случае, нормальным человеком я не был.

Во-первых, тяжесть на сердце, как будто к сердцу привесили гирю, и оно не может биться так хорошо и звонко, как раньше. В голове жар и шум, как будто я болен, хотя я ничем не болен, то кровь приливает к голове, дышится тяжело. И главное, мои мысли, мои густые, длинные блестящие мысли — они спутались, как волосы после купания. Где моя яркость мысли, свет в лабиринтах мозга? Увы, он потух, и по коридорам его теперь носятся исступленно какие-то странные вещества, вспоминается что-то о висках и глазах, о потушенном свете в зале. Никаким усилием воли я не могу стряхнуть с себя этого яда, как дерево само не может стряхнуть капли дождя с листьев.

Уже все заметили сегодня мой хмурый взгляд и

тяжелую походку. Мне самому становится страшно, и я хочу разорвать черную паутину этих дум, стряхнуть все, скинуть с себя, не думать о Тоне, побыть прежним парнем. «Вот она, любовь, как болезнь, — думал я. — А я, дурак, хотел так любить. Нет, лучше так не надо».

Я чувствовал, что тут надо что-то продумать, обсудить, решить, как поступать теперь. Но начал думать и махнул рукой, поняв, что занимаюсь самообманом. Я понял, что, какое бы решение я ни вынес, к Тоне сегодня вечером приду. Утопающий не может рассуждать, за что он хватается — не уколется ли, не обрежется ли?

* * *

Сегодня волк не спокоен,
его разбирает зуд.
И в чье-то горячее тело
вонзается острый зуб.
Он тушу рвет, как душу,
от горла идет к ногам.
Это жизнь, это буйство тела,
это атомов ураган.
Но, кроме вкуса мяса,
есть запах еще и цвет.
Поэтому ты мечтатель,
поэтому ты поэт.
Всю жизнь, еще в ребятах,
мечтал я о счастье таком:
До синего платья неба
дотронуться языком.
Чтоб эта заря поднялась бы,
взглянула бы мне в глаза
И, пальцами лба коснувшись,
в далекую даль позвала...
Мне скажут: «Ведь это безумье,
пройдет оно с ростом бород».

Мне скажут: «Не вздумай стреляться,
а сделай наоборот».
Нет! Я не пойду стреляться!
И жизнь сберегу и мечту,
Сквозь эту свирепую вьюгу
я, стиснувши зубы, пройду.
Хочу я с той самой земною
взрастить молодой росток.
Чтоб плакал, сосал и ползал,
умнел и мужал телок.
Пусть он набирает разум,
листает за томом том,
Окончит рабфак сначала,
а институт потом.
Пусть выйдет из нашего сына
ученый и дельный муж.
Пусть будет он шутке веселой
и песне хорошей не чужд.
Чтоб шел по планете не горбясь,
лишь песню призывно трубя,
Чтоб был бы за все он в ответе,
не рвал бы у жизни края.
И вот что, мой сын, запомни
и постарайся понять:
Вдыхать надо каждый запах,
но только цветы не мять.
Возиться над каждою краской,
но только не пачкать лица.
В ракете прокалывать звезды,
земные не ранить сердца.
А я уйду любоваться
на осени рыжую медь.
А я возьму колокольчик
и буду в него звенеть.
Всему — даже нам с тобою —
придет черед умереть.

И только красивой песне
дано без конца звенеть.
Прочтешь голубые строки,
и к сердцу прихлынет юг.
И пусть продолжают волки
свирепую жизнь свою.

* * *

Когда я беру твою руку,
Руки ты не отнимаешь,
Но в глазах твоих видится мука,
Такая печаль немая!..
И в жилках руки капризных
Я слышу тоски трепетанье.
Он здесь еще, этот призрак,
Над нами его дыханье!
И я своею рукою
Коснуться тебя не смею,
Я только смотрю с тоскою,
Я только сижу и краснею.

* * *

Ты говоришь: «Всему конец!
Забудь, уйди, не надо злиться».
И взгляд твой, серый, как свинец,
В мои глаза не хочет влиться.
И я гляжу в твои глаза
И наклоняюсь ниже, ниже...
Тех дней уж не вернуть назад,
Тех поцелуев с губ не выжечь.
Но этот лоб и прядь волос,
Все это — смех, и жест, и брови, —
Оно с душой моей сжилось,
Оно впиталось в плазму крови.
И каждый вечер, в поздний час,

Любовь приходит, как удушье.
Но у тебя в пещерах глаз
Ложится тигром равнодушье.
В улыбке, в линии плеча,
Как лунный свет, скользит усталость.
И мне теперь одна печаль,
Одна тоска теперь осталась...

* * *

...Она не только не хотела забыть его, вырвать из сердца, но как будто бы даже берегла его в сердце. «Этот человек — загадка», — говорила она.

Вот тут, когда я разглядел такое отношение Тони к прошлому, начала рождаться ненависть к этому человеку. Хотелось доказать, что вовсе он не загадка. «Человек, расходящийся с женщиной только из-за того, что она хочет иметь ребенка, пошляк и мелкий человек, а вовсе не загадка», — хотелось мне сказать. И я мучился властью его над Тоней и тем, что она сама не хочет эту власть с себя сбросить, а хочет сделать из него легенду. Я не мог примирить этого поведения с простой человеческой гордостью, с простым человеческим душевным здоровьем. Зачем скрывать от всех его имя, выдумывать загадку из простого и, может быть, пошлого человека? Ведь этим прежде всего она себя же мучает и свою же любовь растравляет. И как это у нее выжечь, я не знаю.

Ведь он не живой человек, он тень, которая лежит на сердце, а тень, как известно, ножом не соскоблишь и химическим составом не выведешь.

Я живой человек, я часто глупости говорю, и руки у меня грязные бывают, а он мечта, он легенда, он всегда умен, всегда чист. А знай его все по имени и отчеству и завтракай он у нас в буфете, может быть, Тоня давно б в нем разочаровалась.

* * *

Итак, «всему конец»...
Но я знаю, что всему не конец.
Я знаю, что повесть будет продолжаться.
Я знаю, что к Тоне по окончании отпуска приду.
Приду и сяду напротив нее.

Повесть будет продолжаться, я так хочу. Не знаю, как она будет продолжаться, не знаю, чем она окончится, но продолжаться она будет.

## ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ НА ПЕСКЕ

Я от взгляда ее краснею,
Любуясь жилкою на виске,
Но наша сердечная дружба с нею —
Дом, построенный на песке.

Она целует меня, балуясь,
Я уеду, она — в Москве.
Что все мечты мои, все поцелуи?
Дом, построенный на песке.

Но как-то я удивился очень,
Прочитав в календарном листке:
«Как раз бывает особенно прочен
Дом, построенный на песке».

Снег колючий падает с веток...
Может, и правда, конец тоске?
И будет сиять таким чудным светом
Дом,
построенный
на песке?!

* * *

Сегодня в этой комнате
ты здесь, со мною рядом,
Меня своей улыбкою
и шуткою даря.
Но быстро время катится,
минуты дышат ядом,
И грустно осыпаются
листки календаря.
И скоро, скоро выпуск —
пятнадцатое марта, —
Зачеты, и бессонница,
и хлопоты, как чад.
Передо мной откроется
огромнейшая карта,
Собрания откроются,
и речи зазвучат.
И скоро я, как водится,
среди графленых линий
Впишу свою фамилию
взволнованным пером,
Надвину шапку на уши —
в такой вот вечер синий, —
Возьму, что полагается,
и выйду на перрон.
Куда бы ни умчался я —
к Сибири, к Казахстану
Или к седому облаку
на Северный Кавказ, —
Но я тебя, курносая,
любить не перестану,
Я в сердце увезу с собой
сиянье серых глаз.
Ты помнишь, Тоня, помнишь?
Когда тебя я встретил,

Такой полынной горечью
сверкал тогда твой взгляд.
В тебе два сердца бились,
мое же было третьим...
Оно стучало, правда ведь,
на задушевный лад?
Ты помнишь, помнишь время то,
когда сидел я около,
Молчанье, переписку
ты помнишь, Тоня, да?..
Мороз дышал на улице,
цвели сиренью окна,
И в сердце что-то искрилось
и прыгало тогда.
За этой темной лампочкой
ты сядь сюда и слушай.
Не надо недоверчиво
сжимать и хмурить бровь.
Бушует кровь в артериях,
и нас связал не случай,
А звонкая и свежая,
нелегкая любовь,
Не та любовь, с которою
и смейся и посвистывай,
Ходи себе по лестницам
и в сутолке туши, —
А та любовь, которая,
как жар, как бред неистовый,
Как острое стремление
измученной души.
Весь этот пыл мучительный
не выражу стихами я.
Но ты не просишь этого,
ты чувствуешь сама
Мои ладони робкие,
мой взгляд, мое дыхание,

Биенье сердца мальчика,
сведенного с ума.
Я жду, что ты подымешься,
такая ж сумасшедшая,
И мне подашь порывисто
горячую ладонь!
Как злое и ненужное,
откинешь все прошедшее
И снова станешь радостной,
веселой, молодой.
Не понимаю, что со мной?
Я рад сегодня облаку,
Морозу, снегу, инею,
сверканию луча...
Какое счастье это вот —
идти с тобою об руку,
Идти с тобой и чувствовать
касание плеча!
...Я был бы всех счастливее,
но только вот что думаю:
Все это настоящее?
Иль это только бред?
И, может, на волнение,
на эту всю тоску мою,
Сурово отодвинувшись,
ты мне ответишь: «Нет!»
И после ночью где-нибудь,
рванув из-под Саратова,
Я вспомню все мечтания
и всю тоску свою,
Что жизнь с мученьем прожита,
что сердце расцарапано
И что цветут глаза твои
совсем в ином краю...

* * *

Гляди: уже по Лиственной,
Где институт мясной,
Тревожною, таинственной
Повеяло весной.

Уже ручьи забулькали
По всей аллее сплошь.
Отправишься за булками —
Не вытащишь калош.

Ворвался ветер в форточку
С заоблачных высот,
И умывает мордочку
На крыше серый кот.

Но виснет сердце гирею,
Лежит на сердце тень:
В далекую Башкирию
Я еду через день.

Средь гула, среди дыма я
Забудусь ли в тоске?
Но ты, моя любимая,
Останешься в Москве.

В Москве, где все закружено,
Где звон, где шум, где гуд,
В Москве, где шелк, где кружево,
В Москве, где столько губ,

Где все огнями залито,
Где окна жгут, манят,
Ты позабудешь за лето
Мой исподлобья взгляд.

В Москве, где зори молоды,
Где столько лиц и встреч,
Забудешь очень скоро ты
Мою простую речь.

В Москве, где взгляды — омуты,
Где жизнь кипит, как кровь,
Другому ты, другому ты
Отдашь свою любовь.

Средь топота овечьего,
Среди сосновых смол,
Однажды, синим вечером,
Я получу письмо.

И строки жгут больней огня:
«Сереженька, прощай!
Не мучь меня, забудь меня,
Не плакать обещай».

Пускай тоской и пламенем
Пахнет от этих строк,
Но с выраженьем каменным
Я буду сух и строг.

Я высунусь на улицу
И погляжу вперед.
Грустится ль мне, тоскуется ль, —
Никто не разберет.

Рукою не усталою
Придвину микроскоп.
К холодному металлу я
Прижму горячий лоб.

«Она была б жена твоя,
И вот ее уж нет.

Так, сердце, рвись же надвое,
Пылай, жестокий бред...»

* * *

Ты скажешь «нет»? Ты скажешь «да»?
Пока — одно из двух.
Но, Тоня, помни: я всегда,
Всегда твой верный друг.
Я буду там, где должен быть,
Куда поставит класс,
Но мне нигде не позабыть
Сиянья серых глаз.



## В ДАЛЕКУЮ БАШКИРИЮ...

*«Башкирия бьет рекорды!» — так писала институтская многотиражка весной 1932 года. Сама газета била тревогу по поводу тяжелого положения, создавшегося в животноводческих совхозах автономной республики: самый высокий процент падежа скота, самый низкий процент выполнения плана. Не хватало квалифицированных специалистов: ветеринаров, зоотехников, животноводов. Именно сюда, на передний край борьбы за новое, социалистическое сельское хозяйство, уехал после окончания института двадцатидвухлетний комсомолец Сергей Чекмарев.*

*А как же Тоня? Она осталась в Москве заканчивать институт. Сергей понимает, что эта разлука надолго, может быть, навсегда. Его письма с дороги наполнены безграничной тоской по любимой. Чтобы как-нибудь смягчить остроту разлуки, он почти на каждой станции посылает письма в Москву. В них он пытается прибегнуть к юмору, шутке, но сейчас это ему плохо удается. «Тоня, я стараюсь веселей писать... Но право, на сердце грустно». В его стихах спокойная лирическая интонация переходит в звенящее, как струна, отчаяние. «Так, серд-*

*це, рвись же надвое, пылай, жестокий бред...» «Наверно, я сердце тоской пережег!» — так образно объясняет он свое душевное состояние.*

*Однако, как ни горька разлука с любимой, Сергей находит в себе силы для преодоления охватившего его чувства безнадежности, отчаяния. Активный интерес к жизни, комсомольский долг, мысли о предстоящей работе помогают ему обрести душевное равновесие, свойственную ему жизнерадостность. В его письмах, стихах снова появляются веселые интонации, остроумные шутки, мальчишеское озорство. Конечно, тоска осталась, но ее смягчили, оттеснили новые впечатления, чувство ответственности перед предстоящим экзаменом на самостоятельную жизнь.*

---

* * *

Не приехала!.. Не проводила!..

Напрасно стоял я на платформе и ждал, ждал, глядел, глядел и так, и через очки, напрасно вглядывался в туман сквозь моросящий дождик — тебя не было. Я не сержусь, я знаю: что-нибудь помешало. Но все-таки, как тоскливо в вагоне показалось, как тоскливо!.. Не подумай только, что у меня рука от тоски дрожит, нет, это поезд трясет меня, как котенка за шиворот, поэтому вместо букв — каракули.

* * *

Пусть трясет меня поезд как хочет, он все равно тебя из моей памяти не вытрясет. Тоня, шлю привет тебе и Славе, пиши мне, как живешь. Адрес писал тебе уже несколько раз.

* * *

Пишу со станции Инза.

Красивая фамилия у этой станции, правда? Поэтому и захотелось мне отсюда послать тебе открытку. Инза — красивая, и ты — красивая, как же не послать? Кроме того, еще одно: на прошлой станции ходил брать кипяток и увидел синий курносый чайник, ну точь-в-точь как у тебя, и очень ему обрадовался.

Но, однако, надо кончать открытку, а то поезд трогается, и опустить не успею.

* * *

Пишу тебе, сидя в Уфимском доме крестьянина. Вообрази: полутемная низкая комната — мрачная, черная. Под потолком — одна маленькая электрическая лампочка. По стенам — сорок шесть железных коек, на каждой — грязный матрац и подушка. Желающий спать скидывает только сапоги и пальто; сапоги из предосторожности убирает под подушку, а пальто использует в качестве одеяла. А затем издает более или менее сильный храп, в зависимости от устройства мягкого нёба. Но не думай, что все это меня угнетает, плюю я на такие пустяки. Тем более что стол есть, карандаш есть, бумага есть — а чего мне больше надо? Сижу и пишу, только чувствую — долго не пропишу, потому что очень устал и глаза слипаются, как медом намазанные.

О чем буду писать? Да все буду переносить на бумагу, что только вспомнится, что в голову взбредет.

Как все-таки досадно, что ты на вокзал не приехала! Я ждал тебя до последней минуты, и когда поезд тронулся, унося меня от этого перрона, может быть, навсегда, то так нехорошо стало на сердце...

Что было в дороге?

Номер поезда — сорок восемь,
Плацкарта — девять,
вагон — номер шесть...
Но это неважно,
а важно, что осень,
Что осень была у меня в душе.
Я жил хорошо,
я спать мог вволю,
Читал беллетристику,
пил и ел.
Чего же еще? Но с какой я болью
Твердил одно слово
на букву «эл»!..
Оно начинается, это слово,
На «эл»,
а оканчивается на «ю».
А поезд везет меня снова и снова
И поворачивает на юг.
И вот
Рязань,
Рузаевка,
Инза
Уже промелькнули
сквозь лязг и дым,
И тает солнца желтая линза
Над этим лесом,
иссиня-седым.
Несись же, поезд,
несись же, поезд,
Под вздохи поршня,
под стук колес.
Не надо, сердце,
к боям готовясь,
Не надо,
не надо,
не надо слез...

В Сызрани нас ожидало приключение: вдруг на станции вместо воды потекла странная жидкость шоколадного цвета. «Какао», — подумали мы сначала и хотели уже воздать должное начальнику станции за этот питательный и вкусный напиток. Однако нас ждало разочарование. Это была просто-напросто грязная вода.

— Ничего не поделаешь — разлив!.. — вздыхали пассажиры и набирали чайники.

Мы с Марусей воздержались и героически переносили жажду. Но на следующей станции повторилось то же, еще на следующей — еще то же, и так далее и так далее. Мы уже думали, не пересмотреть ли нам свое отношение к этой жидкости (рука не поворачивается написать «вода»), и жалели, что плохо в свое время вникали в микробиологию. Но в Самаре появилась хорошая вода (Волга не выдала!).

За Самарой показался первый верблюд, а еще дальше на одной из станций сверкнула надпись: *Башгиз*.

Мы бросились к киоску, но оказалось, что он торговал... консервами и селедками. Очевидно, Башгиз, считая, что книгами сыт не будешь, решил заменить их чем-нибудь более питательным. Я, как поэт, погрустил об этом. Маруся же выразила одобрение и пожелала, чтобы наш ГИЗ перенял хороший пример.

Сегодня к пяти часам начали подъезжать к Уфе. Ну и зрелище же нам представилось! Мы не знали, к Уфе ли мы подъезжаем или к Венеции. Разливом затопило окраины города, и теперь город был под водой. Улицы были в воде, как...

Тоня, прости, милая, но, право, нет сил подобрать сравнение, уж очень спать хочется. Поэтому снимаю башмаки (кладу под подушку), завертываюсь в пальто и ложусь спать. А завтра буду продолжать.

* * *

Сегодня был в «Скотоводе». Каким дураком я был! Сколько времени был с тобою и не посоветовался: как же все-таки лучше — остаться в тресте или поехать в совхоз? Оказывается, много зависело от моего желания. Меня прямо спросили, есть ли у меня достаточный опыт, чтобы остаться инструктором в тресте. Я попросил послать меня в совхоз. Так и сделали. В какой — меня об этом не спрашивали, но обещали, что не в «тяжелый» совхоз. Послали в Баймакский (бывший Таналыкский). Ну что ж, я доволен. Что бы я стал делать в тресте, когда ничего не знаю и вдобавок ненавижу канцелярскую работу?

Одно вот только — как быть с твоим приездом? В Уфу тебе приехать было бы, конечно, удобнее. Так я раздумывал и колебался, но потом сообразил, что, работая инструктором, буду постоянно в разъезде. Поэтому ты могла бы приехать и не застать меня. А в совхоз приехать можно наверняка. Сообщение прямое: садись на магнитогорский поезд № 56, поезд очень хороший, не поезд, а чудо, и доезжай до станции Сара. Правда, от станции семьдесят восемь километров, но и это не страшно. Я за тобой выеду. Напиши, Тоня, свое мнение.

Что написать тебе об Уфе? Город неплохой, но глухой. Трамвая нет. Ходит автобус, но его редко встретишь, и всегда он набит, как дурак. Автобусы — большей частью грузовые машины, на которых сделаны скамеечки. В таком виде они носят название «открытых» машин.

«Вот идет открытый автобус!»

Извозчиков на улице много больше, чем в Москве. Автомобиль я пока видел только один — перед зданием ЦИК и СНК.

Все вывески и надписи на двух языках: русском и

башкирском. Буквы башкирские — обычные латинские (проведена латинизация алфавита) с добавлением наших оборотного «э», мягкого знака, фиты, яти и еще такого значка, которого у нас нет в алфавите, он похож на большое «і».

* * *

Напрасно я вчера иронически писал о грузовых автобусах. Они, оказывается, очень хорошие — ну, быстро едут, прямо чудо! — куда нашим косолапым с ними сравняться. И притом воздух охватывает все тело — так хорошо, приятно.

Ездил целый день по городу на автобусе, проехал по всем маршрутам (их целых два), да еще по нескольку раз. «Этим ты и занимаешься?» — спросишь ты. Да, Тоня.

Рот мой наполнен беспечным свистом.
Что мне? Брожу, ничего не делая.
Здесь надоест, так поеду на пристань,
Погляжу, как злится река Белая.

Получил командировку, деньги. Еду завтра, билет заказан.

Вчера получил в «Скотоводе» сто рублей, а то, признаться, с деньгами был кризис. Теперь ничего.

Улицы в Уфе пустынны. Только на одной улице, и то только по одной стороне, всегда густая толпа, как в Москве. Это на улице Егора Сазонова. На другом же тротуаре — пустынно. Почему так, неизвестно. Я думаю, уфимцы это делают из хитрости: хотят изобразить оживленную улицу, а понимают, что, если разбиться на две стороны, оживления не получится.

Вообще в этом городе многое по-семейному. Милици-

онеров нигде не видать; перед зданием Совнаркома бродят коровы; остановки автобуса ничем не обозначаются: свои люди, дескать, и так запомнят!

Оригинальные плакаты висят тут в некоторых магазинах. Над кассой электрический звонок и надпись по-русски и по-башкирски: «Сигнал! Предупреждает о появлении карманников!» Наивные же тут воры, если они боятся этих сигналов. Наши бы, сухаревские, уперли бы и самый сигнал.

Но не дурно бы кое-чему и Москве поучиться у Уфы. Так, почти все магазины тут, в том числе книжные, культурные, универсальные, торгуют до 10—11 часов ночи.

В магазине Башгиза устроена читальня, где можно читать все новые журналы и книжные новинки. В парикмахерских установлены маленькие столики — ожидающие играют в шашки и шахматы.

Тоня, я стараюсь веселей писать. Но, право, на сердце грустно. Тоня, милая, родная, пиши! Я с таким нетерпением буду ждать от тебя писем.

* * *

Тоня! Три дня сижу на станции Сара, все никак не могу уехать. Сегодня, кажется, еду. Был нездоров эти дни, сегодня, кажется, лучше. Поэтому и не писал, а то за три дня безделья накатал бы тебе три тома всякой чепухи. И еще, знаешь, такая досада: оказывается, до станции Сара из Москвы без пересадки никак проехать нельзя. Но это не испугает тебя, Тоня, верно? По приезде в совхоз напишу тебе письмо, но и от тебя жду.

Адрес уточненный: Хайбуллинское почтовое отделение, поселок Макан, Таналыкский мясосовхоз. Не пиши Баймакский, потому что, оказывается, он еще не существует.

## Я ОБ ОДНОМ ЖАЛЕЮ...

Не надо сердиться, ветер!
Ты знаешь,
        что мир велик.
Не только Москва на свете,
Существует и Таналык.
Ну что же...
        И здесь неплохо
По жилам струится труд,
И если велит эпоха,
Я буду работать тут.
Но я об одном жалею,
По жизни
        этой идя,
Что в Лиственную аллею
Отсюда
        пройти нельзя.
Нельзя
        скинуть кепку сырую,
Вбежать
        на четвертый этаж.
И я тебя не поцелую,
И ты мне
        руки не подашь...



## НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

*Прибыв в Уфу, Сергей получил назначение в один из самых трудных по условиям работы совхозов. Вначале ему предложили должность инструктора. Он мог бы жить в городе и только иногда выезжать в совхоз для инструктажа. Честность и требовательность к самому себе не позволили Сергею принять это предложение. Какую пользу могут принести работникам совхоза его инструкции, когда у него нет никакого опыта. Нет, это не для него. Надо раньше самому приобрести практические знания, а потом уже учить других — так рассуждал он со свойственной ему добросовестностью и ответственностью.*

*Я уже говорила о том, в каких сложных условиях пришлось ему жить и работать во вновь организованном Баймакском совхозе. Но он трудится с увлечением и глубокой верой в будущее. Через два месяца после его приезда в Башкирию, сюда на летние каникулы приезжает Тоня со своим маленьким сыном. Радость Сергея безгранична. Он уговаривает Тоню остаться здесь навсегда, а институт закончить заочно или взять длительный отпуск. Тоня соглашается, но ей необходимо*

*оформить свои дела в институте, и она возвращается в Москву. Сергей с нетерпением ждет ее писем, однако она упорно молчит. Не изменила ли она своего решения, дали ли ей годовой отпуск? Эти вопросы беспокоят Сергея, и все его письма проникнуты озабоченностью, тревогой. Два месяца, прожитые вместе с Тоней в Башкирии, оставили глубокий след в его душе, и сейчас разлука с нею кажется ему еще острей, еще мучительней.*

---

* * *

Дорогая Тоня! Как много хотелось бы тебе написать, но пишу торопясь, поздно вечером, воруя у себя сон, а у хозяйки керосин. Сон-то неважно, а вот за керосин-то как бы не влетело, керосина здесь мало, поэтому тороплюсь. Чем же я так занят, спросишь ты, что мне даже письма написать некогда? Да пока невеселыми делами. Занят я бумажно-чернильно-карандашной работой, а коровы своей еще ни одной не видел. Веду работу по организации совхоза. Ты же знаешь (или, по крайней мере, должна знать), что сейчас идет разукрупнение совхозов — вот и наш Баймакский совхоз выделяется вновь из состава Таналыкского совхоза № 142. Пока же Баймакского совхоза нет. Кроме того, сейчас меняется и структура совхозов: отделений не будет, участков не будет, а будут фермы стандартных типов по пятьсот и триста голов коров. Так что сейчас сижу и вывожу оборот стада по каждой ферме, план перегона скота, план сдачи мяса и масла по каждой ферме, экспликацию ее земельных угодий и т. д. и т. д. С этой-то работой я справляюсь, но вот дальше-то, Тоня, будет мне очень трудно. В совхозе беспорядок со скотом страшный, падеж телят зимой был пятьдесят один процент, поголовье в точности неизвестно, повсеместно хищение молока, в то время как план сдачи масла не вы-

полняется. (Черт побери! Какие скверные чернила и бумага!) Но, впрочем, плакать не буду. Как я живу тут? Я думал сначала, что зоотехников уважают тут очень мало. Это я заключил из того, что на станции Сара по телефону просил лошадь, и мне ответили, что лошадей нет и чтобы я добирался как знаю. Поэтому, когда я приехал в совхоз и пошел в дирекцию, то сделал самое умное лицо и постарался сесть так, чтобы не было видно дыры на брюках (ведь разорвались все-таки в дороге, черт побери!). Оказалось, однако, что громкое звание мое, обозначенное в путевке и дипломе — «инженер-животновод»! — произвело известное впечатление. Когда же узнали, что из всего выпуска я только один попал в Башкирию, то уважение ко мне еще более поднялось и послышались реплики вроде: «Вот счастье нашему совхозу», — так что мне даже стало неудобно и стыдно в душе за свои малые знания. Но ничего, постараюсь работать хорошо.

Мне немедленно дали записку в совхозную лавку с просьбой отпустить «что причитается, как специалисту по первой категории на пять дней». Я гордо пошел в лавку. Но оказалось, что «специалисту по первой категории на пять дней» причитается лишь буханка хлеба и пачка махорки, каковые мне и были вручены. И теперь вот я живу вместе с директором своего совхоза, вместе спим на полу, вместе голодаем и едим тухлую рыбу, скандалим из-за молока, которое нам плохо отпускают, и мечтаем о том, когда удастся уехать на нашу центральную усадьбу, или, вернее, на то место, где она должна быть.

Красивая ли тут местность? Не очень. По пути из Сары в Акъяр (65 верст) я встретил одно лишь единственное дерево, а то все степь, степь и степь. Впрочем, степью, пожалуй, в полном смысле слова назвать и нельзя: местность тут изрезанная — овраги, горки, ручейки. Говорят, что в нашем совхозе (он к северу от-

сюда) местность лучше, есть кустарник, хорошие горы, речки. Поеду, увижу и напишу тогда. Ой, Тоня, что-то лампа гаснет: кажется, керосин весь, — надо кончать. Пока до свиданья. Тоня, целую и ложусь, а завтра утром встану пораньше и допишу письмо.

Встал утром и продолжаю письмо. Тоня, может быть, ты не представляешь хорошо, где я нахожусь, так я тебе объясню. Я нахожусь всего 70 верст от Иняксского совхоза, в котором была ты. Станция Сара расположена между Орском и Оренбургом, от этой станции 80 верст. И наконец, от Баймакских рудников, которые на любой карте пятилетки должны быть, тоже около 60 верст. Мы находимся на самой вершине Ирындыкского хребта. Видишь, сколько координат. Разыщи это место приблизительно на карте и поставь там точку, и будешь знать, что в этой точке бьется одно сердце, оно бьется любовью к тебе, Тоня. Тоня, как я по тебе скучаю, скорее бы хоть весточка от тебя пришла!

Я пока весел и здоров, на станции болел было и даже лежал, но сейчас здоров совершенно. А когда лежал, плохо было, жар у меня был сильный; так что мне казалось, я всю комнату нагреваю, и чуть ли не бредил, и в бреду все ты была. А потом прошло, не знаю, что за бацилла в меня забралась, но спасибо ей за то, что скоро оставила.

* * *

Дорогие родители!

Это не письмо, а информация, потому что письмо писать некогда.

Где я?

В поселке Макан, центральной усадьбе Таналыкского мясосовхоза, в 80 верстах от станции Сара. Станция Сара между Орском и Оренбургом.

Здоров ли я?

Да, здоров, как нельзя больше.

Что я делаю?

Веду работу по разукрупнению совхоза и организации нашего Баймакского совхоза, которого еще нет.

Как я живу? Да что ж, очень хорошо. Не голодаю ли? Нет, не голодаю, ем прилично. Что за местность? Довольно однообразная. Степь и степь, лесов нет. Но погода хорошая, и воздух в степи замечательный.

Все? Вопросов больше нет? Считаю собрание закрытым. Если же у кого имеется вопрос или даже кто хочет выступить в прениях, пусть пишет по адресу, имеющемуся на конверте.

Мама, собираешься ли ты ко мне приехать? Если да, напиши, а я напишу, когда устроюсь.

## МОИМ СЕСТРАМ

Конечно,
в Крыму
впечатления пестры,
конечно,
в Москве
ощущения остры.
Но, уважаемые сестры,
мои дорогие
две сестры!
Сердце
не надо терять, однако,
сердце
все-таки надо иметь.
Не забывайте,
что возле Баймака,
где добывается мясо и медь,
где люди смуглы
и где лошади прытки,
где бродят стада, —
там живет и ваш брат,

и он
от сестер своих
даже открытке,
даже записке
был бы так рад.

* * *

На этом конверте вы увидите московский штемпель. Но не думайте, что я в Москве — о, нет! — далеко от Москвы и ехать туда не собираюсь. А письмо это должна опустить в Москве моя жена и опустит, если только не позабудет.

Письма я писал, но не отправлял, они и сейчас у меня валяются. Ведь я день и ночь ношусь по степям, а в степях почтовых ящиков не имеется, да и вешать их не на что, ведь деревьев-то нет. Но как бы то ни было, сегодня я намерен письмо написать. Только вот беда: писать письмо надо в самом жизнерадостном тоне, описывать самыми яркими красками, потому что я очень доволен и жизнью и работой — счастлив, что называется. Но тон такой сегодня не удается. Тоня уезжает, и на душе очень тоскливо. Поэтому длинно писать не буду.

Работаю сейчас старшим зоотехником совхоза, заместителем директора по животноводству. Работа мне нравится. Глупы были люди, которые жалели меня в Москве. Вот, дескать, человек окончил вуз, получил высшее образование и, пожалуйста, — едет в глушь, в деревню, в степь, в полудикие места, да еще на постоянную работу.

Что же, вот я в глуши, в степи, на постоянной работе — и очень доволен. Почему? Работать в Москве — это шесть часов ежедневно сидеть в каменной коробке, что-то писать, считать и чертить, это нудно. Работать здесь — это значит носиться верхом на лошади, организовывать работу в гуртах, управлять совхозом. Это труд-

но. Но лучше трудно, чем нудно, — так я считаю. Собственно говоря, почти половина моего рабочего времени занята поездками верхом — да, вот это работа! Вы в Москве большие деньги заплатите, чтобы так поработать. И вообще работа живая. Труд зоотехника ненормированный, я не имею официально выходного дня, если нужно, должен ехать на «точку» в любое время дня и ночи. Плохо? А фактически получается так, что я сам распоряжаюсь своим временем, куда хочу, туда еду, не хочу — никуда не еду, целый день свободен, не чувствуешь себя связанным. А отпуск зато (за ненормированный день) полагается целый месяц. Вот красота!

Имею свою лошадь, имею квартиру. Правда, насчет питания не особенно пока хорошо. Вся еда — молоко и яйца. Едим молоко и пресное, и кислое, и сырое, и кипяченое, и простоквашу, и творог, отчасти яйца. Но при желании можно наладить тут и стол, и я налажу обязательно.

«Что за местность?» — спрашиваете вы. Да ничего местность, хорошая. Степи, горы, кустарники, реки. Дни стоят хорошие. Знаете что, приезжайте ко мне погостить.

Мама, приезжай обязательно и бери с собой кого-нибудь, у кого отпуск будет — Диночку *, я знаю, у нее «отпуск», или Нину, или Лиду, или Толю, или всех вместе. Приезжайте. Доехать можно так: с пересадкой через Оренбург или через Свердловск. Из Оренбурга поедете до станции Сара, всего 6 часов езды. Правда, от станции Сара до нашего совхоза 135 верст, но ходят автомашины. Спросите контору «Союзтранса», купите билет до Богачева и езжайте. Доедете великолепно, хотя и на грузовой машине. Квартира у меня есть, меня здесь всякий знает. Советую долго не думать, а сейчас же и собираться. Если не приедете, то пришлите мне посылку, а именно мне нужно:

* Младшая сестра С. Чекмарева, в ту пору ей было четыре года.

— кровать (спим на полу),
— копченой колбасы (давно не ел),
— бумаги чистой (всю исписал),
— трусов,
— чаю (нет совсем),
— что вам еще заблагорассудится.

Ну, кажется, и пора кончать письмо. «Эге, — скажете вы, — нет, не пора! Ты объясни сначала, что за жена у тебя появилась. Уезжал из Москвы вроде холостым — и вдруг пишет о жене».

Женат я на студентке нашего же института. Она была замужем, разведена, и есть у нее маленький ребенок. Я не знаю, как вам это понравится, но меня это ничуть не смущает. Она очень хорошая женщина, ровесница мне по летам, и мы живем дружно. Приезжайте ко мне, она также скоро приедет, тут и познакомитесь. Я думаю, она вам понравится. Во всяком случае, я люблю ее и вполне серьезно намерен жить с ней.

* * *

Тоня, родная!

Давно бы пора получить от тебя письмо, а его все нет и нет. И каждый день на сердце прибавляется по фунтовой гире — все тяжелее и тяжелее. Вчера вечером приехал я из Киндерли — секретарь говорит: «Тебе письмо». Он сказал и сейчас же раскаялся в этом. Я не отставал от него и заставил несчастного человека прогуляться до конторы, отпереть контору, отпереть стол, разыскать письмо в ящиках стола. Но письмо оказалось не от тебя (от отца).

Что тебе написать о себе, может быть, рассказать, как доехал? Деньги, какие были, все благополучно истратил в Уфе, так что в вагоне очутился без денег. Правда, в кармане лежал «железный фонд» — 17 рублей на автобус, который я решил не тратить, несмотря ни на

что. Напрасно в дороге соблазняли меня свежие огурцы и жареные куры, напрасно румянцем пылала вишня и бледнело от негодования молоко. Я стойко перенес все искушения, голодным сошел вечером с поезда и голодным улегся спать. Наутро голодный же помчался в «Союзтранс», и каково же было мое негодование — билеты подорожали, и до Богачева проехать стоило 20 рублей. Вот тебе и «железный фонд»! Я рассердился страшно, сейчас же пошел к вокзалу, накупил всякой снеди на «железный фонд», а потом просто договорился с шофером и доехал за 10 рублей без всякого билета. Так «Союзтрансу» и надо!

Приехал и получил открытку от Кости, в которой он сообщает, что отпуск вам продлен до четырнадцатого июля. Как досадно стало, как грустно! А ты так спешила, не могла побыть лишнего дня. Но ладно, если ты используешь это время, чтобы попасть в августовский выпуск, то все будет хорошо.

Работаю, но работа не ладится. Удои не повышаются, телята дохнут, а тут еще случная при недостатке быков и гуртоправов. По-прежнему ношусь верхом, по-прежнему выпаиваюсь молоком, сплю теперь не в комнате, а в сарае, в тарантасе. Днем на седле, а ночью в тарантасе! Ночи дырявые, все тоскую по тебе. Скоро ли ты приедешь? Ах, Тоня, не надо было бы тебе вовсе уезжать, лучше бы осталась.

* * *

Еще и день не начался,
Еще и туман над водой,
Но я уж в седле качался,
И шел подо мной Гнедой.
Я как будто удобно уселся,
Накормлен, напоен и сыт.
Отчего же стучит мое сердце

Громче его копыт?
Еще далеко до дому,
Я косматую вижу зарю,
И я говорю Гнедому,
Я ему говорю:
— Гнедой, погляди-ка на степь
За эти вон горы, туда...
Кобылу саврасой масти,
Наверно, ты помнишь, да?
Она ведь рядом с тобою
Шла и в галоп, и в рысь,
И отравой цвела голубою
Над нами бездонная высь.
Она ведь с тобою рядом
Шла и в рысь, и в галоп.
А Тоня светлела взглядом,
И падала прядь на лоб,
И падала прядь с фасонцем
На лоб у моей жены,
И руки ее от солнца
И плечи обожжены.
Гнедой, ты, наверно, понял,
Ты понял ли, мой Гнедой?
Какая хорошая Тоня,
Какой ее взгляд молодой!
Гнедой, ты, наверно, хочешь
Увидеть бы хоть разок
И светлый ее височек,
И серый ее глазок?
Отдаться бы сладкому плену,
Послушать веселую речь...
Я знаю мечте моей цену,
Я умею любовь беречь.
Ременной подпругой сжала
Мне сердце тугая боль.
О, Гнедой, она убежала,

Убежала от нас с тобой!
Она забрала ребенка
И ускакала в Москву,
Оставила Даше гребенку,
А нам с тобою — тоску.
К белой бумаге неба
Приложена солнца печать,
Подняться на облако мне бы
И до Москвы докричать:
«Ах, Тоня! Как сердцу горько,
Как хочется быть с тобой,
Когда за Сюсяевой горкой
Встает закат голубой!..»

Перехожу на прозу, но и прозою скажу то же. Тоня, милая, зачем ты уехала, очень грустно без тебя. Хоть бы письмо получить! Тоня, не жалей деньги, почаще на Сухаревку заглядывай, покупай масло, яйца, все, что есть, трать пока «те» деньги, потом вышлю. Сейчас сам сижу без денег.

Ну, пока до свидания. Крепко целую.

* * *

Пишу в Бурлях на листках блокнота. Прости, дорогая, что не писал так долго, но, право, эти дни набиты работой, я, как мячик, прыгал на лошади. Сдавал скот Мраковскому мясосовхозу. Это к лучшему, — ведь трудно же работать тут, меньше скота — лучше. А все-таки знаешь, Тоня, когда поглядел я, как уходят гурты, пестрым стадом рассыпавшись по дороге, то жалко стало отдавать, и сердце невольно сжалось. И стыдно стало за свою работу, что ничего не ладится, и телята дохнут, и план сдачи молока не выполняется, и случная идет кувырком. Иногда оглянусь на свою работу — и даже удивительно: как я мог такие ошибки допустить, все время

считал себя умным человеком, сообразительным, во всяком случае, и вот такие ошибки. Но ведь до приезда сюда я в глаза не видал мясосовхоза. Однако я верю в себя и до тех пор буду работать в совхозе, пока не овладею необходимым опытом. Но сейчас-то пока очень трудно. Как мне хотелось бы работать с тобой рядом, вместе, чтобы ты мне помогала. Тоня, как же быть, как сделать так, чтобы мы вместе были? Как досадно мне, что ты не влилась в ускоренный выпуск. Это бы лучше всего было, а теперь ничего не придумаешь.

Конечно, если начать рассуждать, то все за то, чтобы ты послушалась группы и «выпустилась» с нею. Но если кончить рассуждать, то все за то, чтобы ты не послушалась группы и приезжала сюда. Я получил от отца письмо, ответ на то, которое ты опустила. Я перешлю его тебе, сейчас его нет со мной. Он меня поздравляет, желает счастья, хочет, чтобы ты к ним зашла, так что ты к ним обязательно заходи.

Не найдешь слов, которые выразили бы то, как я люблю тебя, как скучаю и жду. Вот и сейчас письмо не перечитываю: знаю, написал не так, не выразил, что на душе, но отправлю, потому что долго не писал.

* * *

Дорогие родители!

Увы! Отвечаю отнюдь не «немедленно» и не на том листе, который для этого предназначен. Но это неважно. Важно, что я по-прежнему жив, по-прежнему здоров, по-прежнему работаю. Чего же написать еще? Разве рассеять немного ваши восторги перед моими чинами, что я уже старший зоотехник, замдиректора и т. д. и т. д. Дорогие родители! Одно дело быть старшим зоотехником в благоустроенном старом совхозе, другое дело — в таком, как наш. У нас в совхозе никого и ничего нет, во всем, чего ни коснись, — торричеллиева пустота.

Поэтому работать очень трудно. Вы пишете: мама соберется, возможно, осенью! Увы! Соберется-то она, может быть, и соберется, но доберется ли она? Осенью начинается распутица, а не забывайте, что совхоз от станции в 135 верстах. Сейчас от станции мимо совхоза ходят автомашины, поэтому добраться до совхоза нетрудно, но осенью они будут ходить с перебоями, будут вязнуть или остановятся совсем. Нет, уж если ехать, то ехать не позже начала сентября. Я жду кого-нибудь — жду маму и Толю, приезжайте пить кумыс и поправляться. Что касается жены, то она сейчас в Москве, уехала оканчивать институт. Карточки ее послать не могу, но можете ее увидеть, раз она в Москве. Я говорил ей, чтобы она к вам заходила, но она не хотела, стеснялась, а теперь пишет, что зашла бы, но потеряла адрес. Адрес я ей послал. Думаю, вы ее не обидите. Возможно, она скоро ко мне поедет, можете с ней сговориться.

Напоминаю, что нужно привезти или прислать: бумаги побольше, фотоаппарат — продайте большой, купите маленький, а уже как он мне тут нужен! — альбом, наш выпуск — обязательно. И там чего сами сообразите.

* * *

Соцсоревнование принимаю и буду писать вам. Но опять-таки буду — а сейчас не пишу. Можете вы поверить, что времени совсем нет? Не верите? А все же сейчас так и есть. Сейчас сдаю скот на мясо (вам же в Москву), и день и ночь на гуртах, а как только попаду в Богачевку, сейчас же тащат в дирекцию на совещание или заседание. Кончилось заседание, и айда на лошадь — опять на гурты. Кончу сдачу на мясо, инвентаризацию скота, поставлю скот на зимовку — буду писать, а пока подробных писем не ждите — записочки разве. Вы пишете, не прислать ли мне чего? Я был бы

не против, если бы вы прислали мою шапку и полушубок.

Сейчас я устраиваюсь так, что напяливаю на себя пять-шесть рубашек — одна на другую. И так как тайны своего туалета открываю не всем, то многие изумляются, как я могу в такой холод ходить в одной рубашке. Но, увы, даже десять рубашек не заменят одной шубы, у нас же в совхозе нет ничего, совхоз нищий, мы даже муку с перебоями получаем, у нас узд для лошадей не хватает.

Толя! Ты напрасно за судьбу своих писем беспокоишься, напрасно советской почте не доверяешь, все письма до одного получил и от десятого сентября тоже. Ответы у меня написаны, вернее, наброcаны, некогда переписать. Но перепишу и пришлю. Пиши, продолжай.

* * *

Тоня!

Получил твое письмо. Очень доволен, что продлили вам срок обучения, теперь ты скорей решишься приехать. Нельзя же до октября 1934 года учиться. Ты пишешь — Слава болен, ты его и вовсе так погубишь, приезжай, Тоня, здесь ему будет лучше. Ты пишешь — намерена взять отпуск пятнадцатого сентября, а может быть, раньше можно? Ты пишешь — может быть, мне удастся вырваться. Тоня, куда я вырвусь, зачем я вырвусь? Что я буду делать в Москве? Нет уж, чтобы быть нам вместе, есть только один способ — тебе приехать сюда, поэтому приезжай, не медли. Сто рублей послал тебе в июле, за август — увы! — мне сорок семь рублей начислили, но все равно я вышлю скоро. Если будешь ехать, нужно будет много денег, я постараюсь достать. К родным заходила? Я посылал тебе в прошлом письме письмо отца. Если в сентябре поеду на совещание зоотехников, может быть, удастся заехать за тобой или ты приедешь в Уфу, оттуда поедем вместе.

Пиши, Тоня, чаще, — как Славочка, как учеба? Пока, Тоня, крепко обнимаю и целую.

Тоня, выпиши нашу многотиражку и собирай номера, когда приедешь, привези.

* * *

Долго не писал тебе и вот почему: начиная с первого сентября и по сегодняшний день все вожусь со своими призывными делами и никак не могу выяснить вопрос, иду я в армию или не иду? Поэтому и не писал: хотелось сначала узнать. Однако наверняка не знаю этого и теперь. Правда, прошел призывную комиссию, признан годным, зачислен в артиллерию. Пятого октября жду повестки и отправки в полк. Но дирекция хлопочет, чтобы меня оставить, и не знаю, удастся ли ей это или не удастся, пойду ли я в армию или не пойду.

Я тебя люблю, и поэтому на душе неспокойно. Как ни рассуждай, а все-таки горько становится: ведь это значит — мы с тобой долго-долго не увидимся. А может быть, и совсем не увидимся: кто знает?.. Ты помнишь, Тоня, как ты уезжала, как мне грустно было, а тебе весело, и ты на мою грусть сердилась, а я на твою веселость? Уже три долгих месяца прошли с тех пор. Уже три месяца я вхожу в свою опустевшую комнату, и мне не верится: неужели когда-то в этой комнате Тоня была, и неужели она будет когда-нибудь в этой комнате? Я уже позабыл цвет твоих глаз, Тоня, позабыл, как ты входишь, смеешься и разговариваешь, — а как хотелось бы все это повторить!

Тоня! За последний месяц ты мне только одну маленькую записочку прислала. Это мало, Тоня. Пиши больше, дорогая, пиши, как учишься, как живешь, какие изменения теперь в институте. Ползает ли Слава?

До свиданья (когда оно будет?)!

## СВЯТАЯ МЯТУТА

Я тоже когда-то в купели вопил,
И поп хлопотал надо мною,
Шептал и святою водицей кропил,
И силой пугал неземною.

Недаром же он принимал столько мер,
Я должен был быть православным...
Но я комсомолец, мясной инженер,
Безбожник — и, право, славный!

Я сказку развеял о боге Христе,
Из крови и лжи свитую,
Забросил молитвы, забыл о посте,
И только одну святую,

И только одну святую чту
И в сердце своем сберегаю.
Я к ней обращаю свою мечту
И ей молитвы слагаю.

И годы проходят, и сутки идут,
Летит за минутой минута.
Скажи мне, святая Мятута, ты тут?
Ты со мной ли, святая Мятута?

Когда я по парку ходил в тоске,
Паутиною страсти опутан,
С кем, скажи, я беседовал? С кем?
С тобою, святая Мятута!

Когда я в томленье бессонных ночей
Лежал и считал минуты,
Чей голос, скажи, утешал меня? Чей?
Твой, святая Мятута!

И даже теперь, когда теплой мечтой
Я, как теплою шубой, укутан,
Кто, скажи, помогает мне? Кто?
Ты, святая Мятута!

Я не знаю: ты вправду жила,
Или ты выдумка Тони,
Но к тебе моя песнь летит, как стрела,
В тоскою звенящем тоне.

Ну, так не покинь же меня, не покинь!
Святая Мятута, ты тута?
В верховьях ли Волги, в низовьях Оки,
В Башкирии ль, где снега глубоки, —
Везде, где приходится круто,
Ты меня из тоски извлеки
И успокаивай: тута!

* * *

Тоня, зачем ты прислала мне этот снимок? И главное, зачем ты на этом снимке такая красивая и такая похожая сама на себя? Чтобы я больше тосковал по тебе? Но я и так много тоскую, и с твоей стороны бессердечно такие подарки делать.

Ну, ладно, прощаю на первый раз, сядь поудобнее и поговорим о самом главном.

Тоня, не надо рассуждать. Еще слишком мало можем мы своей жизнью управлять, и один обман эти рассуждения. Зачем ты себя мучишь, и Славу мучишь, и меня мучишь, и все это из-за чего? Чтобы окончить вуз? А уверена ли ты, что так будет лучше? Нет, Тоня, никогда не надо так себя ломать и мучить, как бы «разумно» это ни казалось. Если правда, что тебе тяжело там, то приезжай; не дадут отпуска — приезжай все равно, брось учиться, можно закончить заочно. Если не тяже-

ло, то учись, я не хочу упреков с твоей стороны, что заставил тебя бросить учебу. Тонька, приезжай, право, я так по твоему звонкому голосу соскучился, по твоим теплым губам. Приезжай, пока не холодно и не грязно, пока не вязнут автобусы и не воют бураны.

Что тебе написать о моей жизни? По-прежнему захлебываюсь в работе. Представь, Тоня, к нам прислали бирки и щипцы для бонитировки, а я не знаю, что с ними делать! Как бирковать, не знаю, и вряд ли кто знает — вот оказия! Если знаешь, напиши.

Хотел шестого августа ехать в Уфу на совещание зоотехников — был рад — думал, может быть, оттуда и в Москву проеду и Тоньку заберу, но совещание отменили, перенесли на сентябрь. Такая досада!

* * *

Пушистый снег,
Пушистый снег,
Пушистый снег валится,
Несутся сани, как во сне,
И все в глазах двоится.
Вот сосенки,
Вот сосенки,
Вот сосенки направо,
А ты грустишь о Тосеньке...
Какой чудак ты, право!
А ну пугни,
А ну пугни,
А ну пугни Гнедуху!
Пониже голову пригни,
Помчимся что есть духу.
Ведь хорошо,
Ведь хорошо,
Ведь хорошо в снегу быть, —
Осыпал белый порошок

Твои глаза и губы.
На сердце снег,
На сердце снег,
На сердце снег садится.
Храни в груди веселый смех,
Он в жизни пригодится!



## СКВОЗЬ ЗАВЕСУ ВЬЮГИ

*На станции Карталы в ожидании поезда в Уфу Сергей принял важное решение остаться работать в Башкирии. В Уфе он получил новое назначение и уехал в горную часть республики в Инякский совхоз. Сюда же он перевез Тоню с ее сыном, которая, получив на год отпуск, приехала снова к нему.*

*Бывший секретарь партийной организации совхоза Е. В. Юрьева, вспоминая о совместной работе с Сергеем Чекмаревым, рассказывала: «Несмотря на то, что Сергей Иванович был самым молодым среди руководящих работников совхоза, к его мнениям, советам, предложениям прислушивались старшие по возрасту и более опытные специалисты. Его выступления на заседаниях были четкими, хорошо аргументированными. В массово-политической работе он был моим самым ценным, самым инициативным помощником».*

*Сергей прожил в Иняке всего шесть месяцев. Но его успели запомнить и оценить. И когда через много лет мне довелось беседовать с его бывшими товарищами по работе в совхозе, я слышала о нем только самые теплые, самые добрые слова.*

*Месяцы, прожитые в горной Башкирии, в условиях сказочной природы, оставили значительный след в творческой биографии юноши. Здесь были написаны самые значительные, самые зрелые стихи, в которых наиболее полно проявилось своеобразие его лирического дарования. Именно это своеобразие дает нам право говорить о чекмаревском видении мира, о чекмаревской поэзии. Его стихи показывают нам, как мужает его дарование, как обогащается их тематика, как усиливается их гражданское, патриотическое звучание.*

*Инякский совхоз оказался последним пристанищем юного москвича комсомольца Сергея Чекмарева. Здесь, на окраине села, под одиноко растущей березой, его похоронили.*

---

* * *

Пятнадцатого ноября приехала в Богачево Тоня.

И только было начала она кормить меня котлетами и наводить в комнате беспорядок, только было приехала кровать, только было зашипел на лавке примус и на окнах повисли занавески — одним словом, только было началась тихая семейная жизнь, как вдруг... получаю я призывную повестку. В ней написано, что двадцать девятого ноября, к 8 часам, я должен явиться для отправки в войсковую часть. А что написано в призывной повестке, то должно быть сделано.

Ну что ж? Распростился я с совхозом, получил расчет, покинул незабвенную Богачевку и поехал в Акъяр. Там в первые же пять минут мне сообщили, что я зачислен в артиллерию и подлежу отправке в город Благовещенск (поищите по карте), а во вторые пять минут... освободили совсем от службы в Красной Армии (по глазам) и выдали военный билет на руки. Внезапно я получил возможность выбирать, что мне больше понра-

вится: мог в Москву уехать, мог в Богачевку вернуться, а мог и не возвращаться.

Что я сделал? Я не уехал в Москву, но и в Богачевку не возвратился. Поехал сначала в Сакмарский совхоз, попробовал там устроиться — не вышло. Тогда поехал в Уфу, в Башскотоводтрест, и там после долгих споров получил путевку в Инякский совхоз. В нем я сейчас и нахожусь и пишу настоящее послание.

Это факты. Теперь несколько слов о том, где я и в каком положении очутился. Инякский совхоз расположен в 150 километрах к востоку от Оренбурга в очень живописных местах. Здесь и горы, и пропасти, и леса, и реки; летом здесь цветет черемуха — целые заросли, и ягоды растут в неисчислимых количествах (по слухам). Правда, сейчас к нам в Ибряевку добраться довольно трудно — от станции 80 верст, а в бураны это ой-ой-ой — и вам, милые друзья, ко мне не добраться. Но приезжайте летом, если я просуществую тут до лета, и, честное слово, не пожалеете.

Это в смысле поэзии. А в смысле прозы — это один из самых хлебородных и богатых районов.

Что же касается моего положения, то оно далеко не такое живописное. Ехал я в Красную Армию на все готовое, поэтому с собой ничего не взял. Сейчас у меня нет даже смены белья, нет одеяла, нет ложки с кружкой, не говоря уже о чем-нибудь другом. По пути сюда остановился в Саре, думал в Богачево заехать, кое-что взять. Но начались бураны, машины встали. Я посмотрел на 140 верст бушующего снежного пространства, покачал головой и поехал как есть. Не пропаду!

Что же Тоня? Она осталась в Богачевке, работает там старшим зоотехником (на моем месте). Недельки через две думаю взять пару лошадей и съездить за ней. Вы не думайте, что я забрался далеко от прежнего совхоза. Нет, всего 110—120 верст, то есть меньше, нежели от Богачевки до Сары. Потихоньку я дней за шесть

переправлю ее сюда, а заодно и кровать и все манатки, и опять начнется тихая семейная жизнь и т. д., и т. д., если только опять кто-нибудь меня не погонит.

* * *

Итак, дорогая Тоня, я уже в Иняке. Описывать местность тебе не буду, ты лучше меня ее знаешь.

Теперь все мои мысли устремлены на одно: как бы тебя сюда перетащить? Сижу в башкирской избушке, гляжу на беспредельное снежное пространство, которое нас разделяет, и тоска невольно падает на душу; думаю: неужели до лета? Неужели всю зиму врозь? Нет, не может быть, Тоня, ты не испугаешься путешествия сюда. Я нахожусь от Зилаира всего в 35—40 верстах, а ты от Зилаира — в 60—70 верстах, итого 100—110 верст между мной и тобой — это можно преодолеть. Приеду за тобой на лошадях, Тоня, я думаю, двое саней — и все увезем и сами уедем. Славку укутаем потеплее, в каждом селе останавливаться будем, в буран не поедем — потихоньку переселимся. Я бы, не теряя ни дня, хоть завтра же отправился за тобой, но этому мешает целый ряд причин:

1) 1500 рублей. Как с их покрытием? Прислал ли кто-нибудь денег? Не разыскалась ли посылка? Или неужели же из-за этого ждать, пока я накоплю денег?

2) Мое положение пока неопределенное. Тут старший зоотехник уже есть — и парень сильный, дирекция им довольна. Сейчас он в отпуске. Кто говорит, что он не вернется, кто говорит — вернется; но, если вернется, не получилось бы недоразумения. Придется подождать.

3) Квартиры здесь, в Ибряеве, нет, и разыскать ее очень трудно. Я уже думаю, не поместить ли тебя где-нибудь на ферме?

В общем, пиши, Тоня, жду от тебя вестей. Адрес: станция Саракташ, п/о Кугарчи, село Ибряево.

Живу пока плохо — ведь ни одной даже пары белья нет с собой, так что сплю не раздеваясь, бурки грозят разделиться на две совершенно автономные части. Но это все ничего, Тоня, это неважно, а главное — тоскую по тебе, Тоня, это важно. Не скажи ты: «не приезжай» перед моим отъездом, я был бы в Богачевке теперь. Лучше было бы или хуже?

Еще не объезжал совхоза, объеду — напишу о положении дел.

Пиши, Тоня, жду, целую. «Бурухе» передай привет.

### РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СТАНЦИИ КАРТАЛЫ

И вот я, поэт, почитатель Фета,
Вхожу на станцию Карталы,
Раскрываю двери буфета,
Молча оглядываю столы.

Ночь. Ползут потихоньку стрелки.
Часы говорят: «Ску-чай, ску-чай».
Тихо позванивают тарелки,
И лениво дымится чай.

Что же! Чай густой и горячий.
Лэкин карманда акса юк,
В переводе на русский это значит,
Что деньгам приходит каюк.

Куда ни взглянешь — одно и то же:
Сидят пассажиры с лицами сов.
Но что же делать? Делать что же?..
Как убить восемнадцать часов?

И вот я вытаскиваю бумагу,
Я карандаш в руках верчу,
Подобно египетскому магу,
Знаки таинственные черчу.

Чем сидеть, уподобясь полену,
Или по залу в тоске бродить,
Может быть, огненную поэму
Мне удастся сейчас родить.

Вон гражданка сидит с корзиной —
Из-под шапки русая прядь, —
Я назову ее, скажем, Зиной
И заставлю любить и страдать.

Да, страдать, на акацию глядя,
Довольно душистую к тому ж...
А вон тот свирепый усатый дядя
И будет ее злополучный муж.

Вы поглядите, как он уселся!
Разве в лице его виден ум?
Он не поймет ее пылкого сердца,
Ее благородной... Но что за шум?

Что случилось? Люди свирепо
Хватают корзины и бегут...
Потом зажигается много света,
Потом раздается какой-то гуд.

И вот, промчав сквозь овраги и горы,
Разгоняя ночей тоску,
Останавливается скорый —
Из Магнитогорска в Москву.

Чтоб описать, как народ садится,
Как напирает и мнет бока,
Конечно, перо мое не годится,
Да и талант маловат пока.

Мне ведь не холодно и не больно —
Они уезжают, ну и пусть!

Отчего же в душе невольно
Начинает сгущаться грусть?

Поезд стоит усталый, рыжий,
Напоминающий лису.
Я подхожу к нему поближе,
Прямо к самому колесу.

Я говорю ему: — Как здоровье?
Здравствуй, товарищ паровоз!
Я заплатил бы своею кровью
Сколько следует за провоз.

Я говорю ему: — Послушай
И пойми, товарищ состав!
У меня болят от мороза уши,
Ноет от холода каждый сустав.

Послушай, друг, мне уже надоело
Ездить по степи вперед-назад,
Чтобы мне вьюга щеки ела,
Ветер выхлестывал глаза,

Жить зимою и летом в стаде,
За каждую телку отвечать.
В конце концов, всего не наладить,
Всех буранов не перекричать.

Мне глаза залепила вьюга,
Мне надоело жить в грязи,
И, как товарища, как друга,
Я прошу тебя: отвези!

Ты отвези меня в ту столицу,
О которой весь мир говорит,
Где электричеством жизнь струится,
Сотнями тысяч огней горит.

Я не вставал бы утром рано,
Я прочитал бы книжек тьму,
А вечером шел бы в зал с экраном,
В его волшебную полутьму.

Я в волейбол играл бы летом
И только бы песни пел, как чиж...
Что ты скажешь, состав, на это?
Неужели ты промолчишь?

Что? Ты распахиваешь двери?
Но, товарищ, ведь я шучу!
Я уехать с тобой не намерен,
Я уехать с тобой не хочу.

Я знаю: я нужен степи до зарезу,
Здесь идут пятилетки года.
И если в поезд сейчас я влезу,
Что же со степью будет тогда?

Но нет, пожалуй, это неверно,
Я, пожалуй, немного лгу.
Она без меня проживет, наверно, —
Это я без нее не могу.

У меня никогда не хватит духу —
Ни сердце, ни совесть мне не велят —
Покинуть степь, гурты, Гнедуху.
И голубые глаза телят.

Ну, так что же! Ведь мы не на юге.
Холод, злися! Буран, крути!
Все равно сквозь завесу вьюги
Я разгляжу свои пути.

* * *

Здравствуй, Лида!

Поздравляю тебя с Новым годом и с началом второй пятилетки. Как жаль, что тебе этот год пришлось встретить без работы. Правда, в этом отношении ты стала лучше: с тех пор как не работаешь, чаще стала писать мне. Но боюсь, что это твое рвение скоро остынет, если я не буду отвечать, поэтому и принимаюсь за настоящее письмо.

Что рассказать тебе сегодня о моей житухе в этой стране — стране, где лучший друг человека баран, а злейший враг — буран? Может быть, о буранах? Я рад, что перебрался в эти края, густо заросшие лесами, в эти горы, давно не бритые, покрытые мохнатыми елками и колючим сосняком. Здесь зато можно не бояться буранов, а в степи они наведут ужас даже на храбреца. Да и как не испугаться, когда закрутит так, что едешь на лошади и не видишь лошади, и не понимаешь уже: лошадь ли тебя везет или ветер толкает сани сзади, а лошади-то и нет?

Недавно под Баймаком был страшный буран, во время которого немало померзло людей. И замерзали не где-нибудь в необозримом пространстве, а в двух верстах, в полуверсте от дома. В Баймаке замерзли даже две школьницы по пути из школы домой. В такой буран можно выйти из избы к соседу напротив — и заплутаться, попасть в огород — и замерзнуть там. Тоня, между прочим, в этот буран была в Богачеве и тоже заблудилась в деревне, не нашла дороги из конторы домой. Вот как.

Ну, здесь буран не страшен, мы в шубе из мохнатых гор и в теплой лесной фуфайке. Правда, мороз тут бывает крепчайший — по количеству градусов равняется русской горькой. И мороз этот не любит, чтобы кто-нибудь совал нос в его дела. В этом, к несчастью, я сам

имел случай убедиться: поморозил нос, и сейчас он лупится в ущерб красоте. (Но ничего: я человек уже женатый.)

Что делал я в этот месяц? Провел его на санях. Объезжал гурты (в общей сложности надо сделать верст триста), а потом ездил в Богачево за Тоней. Привез благополучно. Славка тоже невредим. Вот герой, которому еще года нет и который уже 10 тысяч верст по железной дороге проехал и 700 верст на автомашине и лошадях.

Можно бы еще многое написать, но не все сразу. Кое-что отложу до другого письма. Пиши, Лида, как живешь, а также что за жизнь сейчас в Москве. Работу не нашла еще? Хочешь, приезжай ко мне в совхоз; может быть, смогу тебя устроить на стройработе. Насколько это возможно и что за работа, узнаю и напишу в следующем письме, но могу поручиться, что тут интереснее будет, чем в Москве. Очень рад бы тебя увидеть. Очень хотел бы видеть маму и Дину. Думаю, что весной они меня навестят. Какая Дина теперь стала и помнит ли она еще меня? Что-то папа давно мне не писал, и я не знаю уж, где и как он работает, как вы живете в общем. Мы живем ничего. Правда, в городе Ибряеве квартирный кризис, но унывать и худеть не думаем.

* * *

Аруме! *

Что же, товарищи, не начинается ли уже весна? Тепло, снег тает. Но есть в нашей природе некоторое ехидство, почему ей не приходится слишком доверять. Здесь существует пословица: «Подходит марток, надевай трое порток», — и верно, что недавно совсем морозы были в 43 градуса. Что еще сказать вам о погоде? Здесь, го-

* Приветствие по-башкирски.

ворят, весной отрезает наше село от всего мира, так что не пройти и не проехать на лошади; реки у нас кругом, и под окном у меня река. Поживем — увидим.

К нам приехал новый директор, недавно окончилась приемка. Объехать весь совхоз — это значит проделать, считая взад-вперед, около 400 верст, и я имел удовольствие лишний раз совершить это путешествие. Вообще мне больше приходится ездить и мало приходится бывать дома.

Как живем? Пожалуй, поторопился я похвастаться, что живу в самом плодородном углу Башкирии. Плодородный-то он плодородный, но как раз в этом году поставлен в неблагоприятные условия. Соседний с нами Саракташский район почти весь свой хлеб вывез на хлебозаготовки. Как это получилось — даст ответ закончившийся недавно процесс райзо. Райзо нарочито показало повышенные нормы урожая, в результате чего район остался без хлеба. Заведующий райзо осужден (бывший кулак). Как-то быстро хлеб скакнул в цене вверх, и сейчас пуд ржаной муки дошел до 130—150 рублей, картошка — от 20—25—30 рублей. В совхозе хлеб мы получаем с перебоями. Вчера, например, только получили наряд на март, вдобавок норму уменьшили. Раньше получал я 17 килограммов муки, теперь — 12 килограммов, а на иждивенцев теперь 6 килограммов. Все это я пишу отнюдь не для того, чтобы вас напугать, а просто для информации. С голоду мы не пропадем, получаем в совхозе и картошку и молоко, да и купить тут можно кое-что: зайцы по 5 рублей, масло по 8 рублей фунт, мясо по 3—4 рубля фунт. Цены, наверно, не отстают от ваших, московских.

В общем, я живу пока хорошо, не скучаю. План по маслу на первый квартал выполнили уже на 290 процентов (ешьте на здоровье!), телята пока все живы и здоровы, чего и вам желают.

С чем плохо — это с культурой: газеты доходят пло-

хо, книг нет совсем. И никто из сестер и братьев не догадается прислать хоть несколько книжек. В общем, вы по почерку видите, что письмо у меня не ладится. Я долго не писал, посылаю как есть, через недельку напишу еще. Буду писать чаще.

* * *

Толя!

Прежде всего разреши тебя успокоить: все твои письма я получил, начиная с «PPS» и кончая 30-й страницей дневника. Ты посылаешь их заказными, но это только бесполезная трата марок, так как у нас в Башкирии в таких тонкостях не разбираются. Все равно мне приходится плясать за каждое письмо, но это ничего, пиши больше, может быть, таким образом я и плясать выучусь. Я был рад несказанно твоим письмам. Столько времени я уже не писал ничего и не читал, только ходил с уздою да перегонял коров с места на место. Очень доволен, что тебе вдруг пришла мысль вести дневник и мне его пересылать. Буду следить за ним с большим интересом. Взамен буду посылать тебе нечто вроде своего дневника, пусть эти листки послужат его началом. Но прежде чем (и для того, чтобы) начать рассказ о своих башкирских приключениях, хочу написать тебе о твоем дневнике и возразить кое-что.

Итак, начинаю по порядку.

1. Ты пишешь: «Дневник организует человека и помогает ему развиваться».

И дальше: «В дневнике человек складывает все ценнейшее от своей жизни, все свои наблюдения, вырабатывает путь своего развития через посредство дневника (организации и изучения себя)».

Милый друг! Тот коридор твоего мозга, в котором эта мысль зародилась, по-моему, срочно нуждается в починке, потому что это самая дикая белиберда. Откуда

взял ты, что человек вырабатывает путь своего развития «через посредство дневника, организации и изучения самого себя»? Что за поднимание самого себя за волосы? Разве не в самой жизни, не в процессе классовой борьбы вырабатывается человек? И неужели ты серьезно думаешь, что ценнейшее в жизни человека — это его дневник? Лучше разве было бы, если бы выдающиеся деятели науки, политические деятели не боролись, не изобретали, не работали, а только писали свои дневники? Что было бы, если бы Эдисон телефона не изобрел, а оставил лишь нам свой дневник? Если бы кочегар не подбрасывал угля в печь, а писал бы свой дневник? Нет, дорогой, ценнейшее в жизни человека — это работа его, а не дневник, это жизнь его, а не дневник, это борьба его, а не дневник. А что такое дневник? Есть ли это средство самовоспитания, как ты пишешь? Но **ведь главное сейчас в воспитании, чтобы человек знал и любил свою работу, чтобы он умел хорошо выполнять свою работу, чтобы он перспективы всей нашей гигантской стройки видел за этой работой и чтобы он вместе, в ногу шел со всем нашим многомиллионным коллективом.** При чем же тут дневник и где тут место дневнику? И дневник не метод самовоспитания, а метод самокопания. Это для «интеллигентов» (в ругательном смысле), «изучающих» самих себя и копающихся в глубинах своей психологии, — вот какой, дескать, я гадкий еще человек, какой слабовольный, какой поступок я совершил. Это для барышень, влюбленных в Дугласа Фербэнкса. Ведение дневника — это следствие того самого лицемерия, которое присуще буржуазному строю. Это лицемерие толкает человека на то, что хотя бы с самим собой быть откровенным, «душу излить».

Итак, что же о дневнике? Если бы, скажем, Лида или Нина прислали мне письмо и написали мне, что они дневник ведут, чтобы «организовать» и «воспитать» се-

бя, я бы им честно и прямо сказал: «Бросьте! Вы воспитываете себя не так, как нужно». Тебе (и себе) я так не говорю, а говорю: продолжай! Почему? Потому, что моя (и твоя) жизнь неразрывно связана со словом, с этими вот лиловыми чернилами, с этими вот крючочками, и оторвать ее от этого нельзя. Моя жизнь (и твоя, по всей вероятности) как-то неотделима от ее описания. Когда со мной что-нибудь интересное случается, мне невольно думается, как я это опишу. Я слежу иногда за собой, как за героем романа, думаю: «Вот это завязка», — гадаю, как пойдет дело, лишь для того, чтобы все это описать. Поэтому и тебе нужно вести дневник, и мне нужно. Это необходимо. Но не смотри на дневник как на средство воспитания в себе человека. Тебя жизнь воспитает, глубже в нее окунайся. А писать — пиши, пиши и пиши, и шли мне, я буду слать тебе. Из наших двух дневников получится интересное сплетение. Надеюсь, ты будешь так же аккуратно складывать мои листки, как я твои.

2. Об откровенности дневников. Почему, если напишешь совсем откровенный дневник, и стыдно и неприятно его показывать? Тут дело не в лицемерии, которое «с душой срослось», как ты пишешь. А по-моему, тут дело объясняется так. В дневнике человек открывает свою душу. Так! Но как ее открыть? Скажи, как? Ведь это не печная заслонка: взял да и открыл. Это сложная, очень сложная вещь — мозг, и думы, и мечты человека. А слово — такая грубая вещь для того, кто не умеет с ним обращаться. Поэтому так и получается. По-моему, все откровенные дневники фальшивы, и фальшивы тем, что человек на себя клевещет. И главное не в том, что трудно, например, описать то или иное чувство, а в том, что надо как-то соразмерять мысли, что они не одинаковы как-то по тяжести, что ли, по удельному весу, — не знаю, как это объяснить. Вот, например, я гляжу на девушку. Она улыбнулась — мне приятно; она, скажем,

высморкалась, — ведь не одинаково это по удельному весу. Это рябчик пополам с кониной. Знаешь этот анекдот? Подают в ресторане жареных рябчиков пополам с кониной, а пополам делают так: один рябчик, одна лошадь. Вот и мысли у нас — рябчики и лошади, и если их одну за другой записать, получится фальшь. Рябчика-то и не почувствуешь, а может быть, он самый главный у тебя в душе. Поэтому я говорю: совсем, совсем откровенного дневника быть не может, потому что это под силу только гению. Если человек хочет вести откровенный дневник и хочет написать, как он ночью, скажем, струсил позорно, я скажу: остановись, не пиши, ты на себя клевещешь. Прежде чем описать этот случай, ты напиши сначала книгу о своем детстве, о том, что составляет тебя, чтобы твое описание трусливого поступка было на фоне твоей жизни.

Поэтому, если кто-нибудь, увидев мой дневник, спросит, насколько откровенен, мол, дневник, я скажу: настолько, насколько хватило у меня... литературного мастерства. Я изобразил свои чувства, и мысли, и думы как мог, но... некоторые пропустил, потому что не нашел им коэффициента соизмерения, если можно так сказать. Не знаю, понял ли ты меня или нет.

3. О полной будто бы откровенности в коммунистическом обществе. «Тогда не будет замкнутости», — как ты пишешь. А что, если это не так, дорогой товарищ? Есть такая песня, очень популярная, но в ней есть слова, которые мне кажутся неправильными:

Наш паровоз, вперед лети!
В коммуне остановка...

Я всегда невольно улыбаюсь, когда так поют. Мне хочется сказать: разве же в коммуне нашему паровозу остановка? А по-моему, он только тогда полным ходом пойдет. Товарищи, ведь это рай так представляли: полный мир и покой, лицезрение бога и пение херувимов.

И коммунизм — паровозу остановка, полное счастье и равенство всех людей и полная их откровенность, без всякого лицемерия. Нет, Толя, а если не так? Я убежден, что и при коммунизме люди будут лгать, и хитрить, и страдать; что парни будут обманывать девчонок, а девчонки — парней, что и горько, и тяжело порой будет приходиться, да и поплакать кое-кому придется.

Чего же не будет при коммунизме? Не будет капитализма, не будет его страшного следствия, когда взрослый веселый человек с крепкими руками умирает с голоду, когда маленькие дети синеют и чахнут, когда человек тупеет от работы, когда все лучшее затаптывается в грязь, когда человеку — ты понимаешь? — родившемуся человеку, веселому малютке с голубыми глазами, который, может быть, много создал бы и изобрел бы, не дают развиваться, его голодом морят, его забивают. Потом он тупеет от работы, от водки, он затаптывается в грязь. Вот этого не будет, этого не должно быть.

4. О полном человеке. Ты говоришь: «Полный человек — по-старому гений». А по-моему, не гений, а полная ему противоположность.

Гений узок: у него или только ухо — он музыкант, или одни глаза — он художник, и больше он ни о чем на свете не думает, и так и надо ему больше ни о чем не думать. А полный человек — это нечто совсем другое. Это человек всесторонне развитый — физически, умственно, способный глубоко чувствовать, обладающий хорошими моральными качествами: смелостью, правдивостью, чуткостью и т. п.

Я тоже хочу быть таким человеком. Это трудно, но я хочу. В детстве я мечтал быть гением, — неверно мечтал, думал, как дважды два, что буду знаменит. Но вот мне двадцать два года, и я не знаменит. Более того, теперь я полным человеком хочу быть. Я прежде всего

хочу любить, а потом уже писать про любовь, прежде хочу видеть, жить, потом уже писать о жизни. Первую половину жизни я буду писать для себя, вторую — для всех. Что до славы, то слава будет. Разве это не слава — уважение окружающих людей?..

## О ЖУРНАЛЕ

Многие люди говорят —
И, кажется, это правда, —
Что в Москве
    световые рекламы горят,
Издается газета «Правда».
Но в Ибряеве, здесь у нас,
Таких вещей не бывает,
Лишь кривит луна
    свой единственный глаз,
Да буран завывает.
В чем же дело? Бумага есть,
Чернил — около литра.
Давай издавать журнал и здесь,
Это не очень хитро.
В такой пустыне,
    в такой глуши,
В тиши
    такого селенья,
Даже мои стихи
            хороши,
Даже твои творенья.

## О ВРЕДЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

В наше время люди любят путешествовать — вернее, перемещаться с места на место. И главное — что они не сознают вреда таких перемещений: наоборот,

распространено ложное мнение, что они полезны и будто бы воспитывают и обогащают ум человека.

— Зачем вы переменили место работы? — спрашиваем мы и часто получаем ответ:

— Надоело сидеть на одном месте.

В действительности же такие перемены мест не обогащают ум. Представьте себе человека, который большую половину своей жизни провел на хуторе Аксаир. Пусть человек этот, сидя сейчас в Москве, скажем, за кружкой пива, услышит от другого, рядом сидящего, знакомое слово — название своей деревни. Как вы думаете, сверкнут при этом его глаза или не сверкнут? Сверкнут обязательно!

Вы можете, наблюдая подчас за беседой двух людей, за их жестами, глазами, подумать: «Вот люди говорят о самом задушевном», но вот вы подходите ближе и с удивлением слышите, что весь разговор состоит преимущественно из названий сел, речек и оврагов, что люди горячо спорят о расстояниях между деревнями, о дорогах. И у них глаза блестят при этом. А вы отойдете, скучая. «В чем же дело?» — подумаете вы.

А дело в том, что, когда человек подолгу живет на одном месте, место срастается с душой и становится частью его самого. Вот когда душа человека обогащается, а не тогда, когда мимо пролетают пейзажи, люди и звери! Защелканная и замученная, хиреет тогда душа, и жалок человек, который провел всю жизнь в передвижениях. Он был в Туркмении — и не знает Туркмении, был в Армении — и не знает Армении, был в Башкирии — и не знает ее.

Я вовсе не рекомендую людям всю жизнь сидеть на одном месте. Но я бы разрешил человеку уехать из своего района тогда, когда он каждый куст и каждый родник будет знать. Вот такое путешествие, когда человек живет в стране, а не проезжает по стране, живет

три-четыре года на одном месте, — такое путешествие развивает. А «любители» перемены мест напоминают мне читателей, которые, вместо того чтобы прочесть книгу, слегка просматривают ее и знакомятся лишь с именами главных действующих лиц.

* * *

Тебя мне даже за плечи
не вытолкать из памяти,
Пусть ты совсем не прежняя,
пусть стала ты другой,
Но переливы глаз твоих
и губы, цвета камеди,
В сознанье озаряются,
как вольтовой дугой.
Я буду помнить корпус наш,
шаги твои по Лиственной,
Холодное молчание,
горячие слова.
Там пруд пылал, как озеро,
и бред казался истиной,
И от улыбки чуточной
кружилась голова.
Она, любовь, с тобой у нас
не распускалась розою,
Акацией не брызгала,
сиренью не цвела.
Она шла рядом с самою
обыкновенной прозою,
Она в курносом чайнике
гнездо свое свила.
Она была окутана
лиловым чадом примуса,
Насмешками приятелей
и сутолокой групп...

Но на душе тоска была,
и я в огонь бы ринулся
За искорку в глазах твоих,
за очертанье губ.
Теперь с тоскою кончено.
Теперь твои артерии
С моими перепутаны
и переплетены.
И как рисунок бабочки
на шелковой материи,
Над нами тень раскинулась
ибряевской луны.
Скажи мне, неужели ты
со скукой смотришь на небо?
И жизнь тебя измучила
и кажется сера?
И как в реку бросаются,
не глядя, хоть куда-нибудь,
Бежать тебе хотелось бы
из этого села?
А мне минуты кажутся
чудесными и гордыми,
По книгам буквы ползают,
беснуется метель,
И лошади проносятся
с опущенными мордами,
И избы озаряются
улыбками детей.
По «точкам» путешествовать,
не брезговать помоями,
С директорами ссориться,
с кобылами дружить —
Не знаю, как по-твоему,
но, Тонечка, по-моему,
Все это, вместе взятое,
и означает — жить.

## ЛОШАДЬ

*Очерк*

Когда я приехал в Богачевку, то имел о лошади самое смутное понятие. Горожанин, воспитанник Москвы, я привык видеть перед собой умную морду трамвая, с нею сжился и сроднился. Я не опасался его нисколько, этого только с виду страшного чудовища. Я научился на лету хвататься за поручни, висеть на ступеньках, приникая к холодному железу, протискиваться через непроницаемую толпу. Я знал, какой из бесчисленных номеров куда идет, знал все привычки трамваев и хитрости (а трамваи тоже пускаются на хитрости).

И вдруг вместо всего этого — лошадь. Я не знал лошади, а верхом на нее не садился ни разу. Трудное или легкое это дело? Иногда мне казалось, что это легко: что ж такого, сел и поехал. Но я вспомнил, что существуют для чего-то школы верховой езды, что есть какие-то правила и законы, что Молчалин в «Горе от ума» упал с лошади («Поводья затянул, ну жалкий же ездок!»), — и меня брала невольная боязнь. А тут еще коня для меня припасли — жеребца — очень свирепого по всем описаниям. Вот уж истинно удружили! Я говорю: по описаниям, потому что, к моему счастью, его в это время не было на участке — угнали на посевную. «И что за глупость сделали! — возмущался завучастком. — Знали, что едет дирекция, и угнали самую лучшую лошадь на посевную!»

Я изображал на лице негодование, но в душе был очень доволен таким оборотом дела и скромно довольствовался ленивым и упрямым серым конем.

С неделю, кажется, ездил я в тарантасе, но наконец решительный момент наступил. Предстояло ехать на пятую ферму, дороги категорически протестовали против экипажей всех видов, да и в конце концов надо же было когда-нибудь начать?

— Оседлайте мне лошадь! — сказал я небрежно, как будто всю жизнь только тем и занимался, что давал такие указания.

Пошли седлать, а я нарочно закашлялся, чтобы заглушить биение сердца. Боялся я главным образом того, что при выезде моем из деревни случится что-нибудь смешное, что послужит вовсе не к повышению авторитета товарища Чекмарева — старшего зоотехника и заместителя директора совхоза. С какой бы охотой я вывел лошадь за две версты от деревни и только там попробовал бы влезть на нее!

— Готово. Больно ленив только, — сказал конюх, хлопая Серого по крупу.

Но я, наоборот, молил благодетельную лень спуститься на лошадь еще в большем количестве. «Сумею ли я хоть влезть на седло?» — подумал я, но, против ожидания, это мне удалось легко. Жеребец спокойно вышел из ворот. Я чувствовал себя очень удобно, и уже невольная гордость подступала к сердцу, как вдруг кому-то из конюхов вздумалось огреть Серого жичиной. Не знаю, зачем взбрела ему в башку эта мысль и вообще зачем тут очутилась жичина, но это роковое обстоятельство сразу изменило картину. Подбодренный ударом, Серый побежал, а я вдруг каким-то смешным образом запрыгал в седле, ухватился за луку, чтобы не упасть, и выпустил повод. Без всякого повода (и в прямом и в переносном смысле) Серый, недолго думая, повернул к ближайшей избе, самым нахальным образом остановился перед окном и ткнул носом в стекло. Любопытные физиономии прильнули к окну. Покраснев, я взял повод, повернул жеребца и... поскакал, может быть? Черта с два! Поехал шагом, тихо-тихо. Говорят, что на затылке глаз нет, но, честное слово, я видел, как сзади, у конного двора, стоят кучей и глядят на меня совхозные работники.

Проехав две версты, я попробовал перейти на рысь.

Но, увы, всякий раз начинал при этом так подскакивать в седле, что принужден был обеими руками хвататься за луку и крепко держаться за нее, чтобы не вылететь из седла. Серый пользовался этим, чтобы нести меня туда, куда ему хочется. Только когда он переменял свой шаг, я брал в руки повод, направлял жеребца на дорогу, а затем опять и опять начиналось все сначала.

Вскоре пришлось совсем отказаться от рыси, так как прыжки в седле причиняли мучительную боль, а не прыгать я не мог. «Неужели все всадники так же прыгают в седле? А если нет, то что они делают, чтобы не прыгать?» — думал я, да так и не разгадал тогда этого секрета. К счастью, на полдороге мне встретились те люди, к которым я ехал, и я повернул с ними обратно. Когда тарантас их тронулся вовсю и Серый затрусил за ними, я попробовал его удержать — тщетно! Рыси я не мог перенести и потому, что она причиняла боль, и потому, что она показала бы мою беспомощность. Я отчаялся, что не смогу удержать и остановить проклятого жеребца, и, когда он сильнее поскакал, почувствовал, что, стоя в стременах, держаться легче. Так я и ехал всю дорогу, разгоняя лошадь до галопа всякий раз, как она переходила на рысь. В этом было лишь то неудобство, что я не мог управлять жеребцом и по-прежнему ехал по его воле.

Я спрашивал позже моих спутников, заметили ли они, что я не умею обращаться с лошадью, и оказалось, что нет. Как бы то ни было, я вернулся в Богачевку разбитым до последней степени. Но и то надо принять во внимание, что, сев первый раз в жизни на лошадь, я проехал взад и вперед около двадцати верст, — расстояние все же солидное. Казалось мне, что в следующий раз я охотнее понесу лошадь на себе, чем сяду на нее верхом. Но наступило утро, и заглянувшему ко мне вопросительно солнцу я дал торжественное обещание в

ближайшую неделю не слезать с седла и овладеть искусством езды.

Я выполнил свое обещание.

...С Серым я не сдружился, я боялся его взнуздывать (раз он укусил меня, и довольно здорово), боялся ловить его и с трудом уводил от табуна. Вдобавок у него оказалась хромота — как будто растяжение сухожилия. Поэтому я с радостью его оставил, когда Денисов, уезжая в Стерлитамак, отдал мне на время своего коня.

В этой лошади (я ее называл Маруськой) на первый взгляд не было ничего привлекательного. Маленькая рыжая кобылка, невидная; и я не за красоту ее полюбил, а за ее чудесный характер. А какой характер назывался у лошади чудесным? Она не ленива, она не требовала ни палки, ни кнута, она по движению повода и колен знала, требуется от нее рысь, галоп или только шаг. Она была вынослива; ее маленькое сердечко хорошо работало, и она могла делать перегоны по сорок верст ежедневно. Она была добросовестна, и уже сама первая, бывало, никогда не остановится и не перейдет с рыси на шаг, хоть и устанет. Она была быстрая: ее маленькие ноги могли семенить очень хорошо. Она была... Но если я начну перечислять все хорошие свойства милой моей Маруськи, то не кончу никогда. Она была первой моей любовью среди лошадей, и, как первая любовь, она не позабудется. Вдобавок она ко мне относилась хорошо. Не скажу, чтобы любила меня (это было бы, пожалуй, слишком смело), но, по крайней мере, относилась с уважением: не лягалась, не кусалась, лизала мои руки, давала себя оседлать, когда я иногда оставлял ее не привязав.

Так жили мы с ней дружно, носились по степям, питались травой и хлебом — причем траву ела преимущественно она, а хлеб я, — как вдруг неожиданное несчастье свалилось нам на голову. Несчастье это, впрочем, нужно было ожидать. Вернулся Денисов и потребовал

свою лошадь обратно. Вдобавок сказал, что она у меня похудела. Но это неправда, конечно, она у меня поправилась, а не похудела, — это все говорили, и потому мне показалось еще более обидным. Лошадь была уже год закреплена за Денисовым, знала его лучше меня; директор тоже встал на его сторону. Надо было ее вернуть, но сделать этого я не мог. Я не представлял себе, как это я буду жить без Маруськи — на ком буду ездить? Да больше мне ни одна лошадь и не нравилась. В эти дни я испытывал тоску. Сердце ныло и болело в предчувствии неотвратимой разлуки. Мне уже снова вернули нелюбимого Серого, но я потихоньку увел из конюшни Маруську, оседлал ее и уехал на самую дальнюю ферму. Дня четыре ездил, и я был счастлив. Но, увы, надо же было когда-нибудь вернуться. Вечером, приехав, я поставил Маруську на конюшню, а на следующее утро, еще до рассвета, на ней уехал Денисов.

Но она не принесла ему счастья. Вскоре после того я встретил его на первой ферме, где у нас шло совещание.

«Где Маруська?» — спросил я его запиской, и он ответил вопросом на вопрос: «Разве она не приходила?»

Оказывается (по его рассказам), Маруська сбросила его с седла и убежала неизвестно куда, поймать ее он не мог. Поиски Маруськи не привели ни к чему. Злость меня брала на Денисова, да и он сам уже говорил: «Лучше бы она осталась у тебя».

Ко мне прикрепили большую сивую кобылу — настоящее чудовище, иначе никак ее не назовешь. Она лягалась, норовила укусить за ногу и без палки никак не шла. Правда, палки боялась как огня и шла тогда старательно, но рысь у нее была тряская, галоп ничем не замечательный. Единственно, что ее выделяло среди других лошадей, — это громадная величина.

Когда случалось мне иногда потерять или сломать палку — а ведь кругом степь и нигде ни дерева, — она

шла как ей вздумается, и ни окрики, ни мольбы не могли заставить ее изменить темп. Я тихо ненавидел ее в эти минуты. Иногда мне казалось, что она просто надо мною издевается. Но стоило мне раздобыть палку, как она внезапно вскидывала голову и мчалась, даже не дождавшись моего понукания или удара. Хитрая была, бестия!

Я стал серьезно подумывать о замене и подыскивал на фермах подходящую лошадь. Много лошадей было лучше Сивухи, но я не брал их, хотел разыскать самую лучшую, с тем чтобы потом больше уже не менять.

Но вот все-таки счастье мне улыбнулось. На ферме Бурли, зайдя в отсутствие конюхов на конюшню, я начал осматривать и проверять всех лошадей. Мое внимание привлекли две лошади: вороная, со звездой на лбу, и бурая, с каштановой гривой и блестящими-блестящими глазами. Сел я на вороную и сейчас же слез, плюнув: рыси у нее ни капли не было — какие-то заячьи прыжки. Сел на Буруху и тронул повод. Я не понукал ее, со мной не было даже палки. Несмотря на это, лошадь неслась с горящими глазами и, видя, что я ее не останавливаю, перешла на галоп. Неслась она быстро, как птица, куда быстрее Маруськи, и при этом рысь у нее была удивительно мягкая. Без седла, следовательно, не имея возможности пружинить, я сидел, однако, на спине лошади как на стуле и совсем не подскакивал, если упирался коленями. С трудом остановил я разгорячившуюся Буруху. Кровь прилила к лицу. Радость захлестнула меня: «Вот, вот она!» — отстукивало сердце. Я просто не понимал, как такая лошадь могла попасть на ферму, а не на центральную конюшню? Да и на ферме почему она была не за управляющим, и не за агрономом, и не за зоотехником, — лошадей их я знал, и знал, что Буруха не закреплена ни за одним из них. Что за слепота? Может быть, Буруха недостаточно вынослива?

Я осмотрел кобылу и не нашел в ней никаких дефектов (хотя слишком мало в этом понимал).

Привязав лошадь, я отправился на ферму с твердым решением во что бы то ни стало эту лошадь взять. Ни управляющего, ни заместителя в это время на ферме как раз не было. Я пошел к конюхам. Конюхи, оказывается, Буруху знали и ценили и поэтому к моей попытке взять ее отнеслись неприязненно (они стерегли на ней лошадей).

— Хотелось бы ее взять немедленно!

— Освобождена, — заявили они.

— Как освобождена? Она нездорова?

— Значит, нездорова, если освобождена.

— Кто освободил?

— Редин.

Я пошел к Редину... *

**В ПУТИ**

Сегодня вьюга бесится,
ехать не велит,
Мерин мой игреневый
ушами шевелит.

— Ты что, овес-то даром ел
по целому мешку?
Давай, давай прокатимся
по белому снежку!

Чтобы глаза заискрились,
чтоб ветер щеки жег,
Чтобы снежинки вихрились
в переплетеньях ног...

---

* На этом очерк обрывается.

Кого, скажи, пугаешь ты,
косматая метель?
Мы все здесь люди взрослые,
нет маленьких детей.

Нам все равно, голубушка,
хоть вой ты иль не вой, —
Твой голосок пронзительный
мы слышим не впервой.

Среди снежинок шелковых,
в нагроможденье скал,
Я только здесь нашел себе,
чего всю жизнь искал...

Ты что прижался, слушаешь,
мерин, мою речь?
А ну, рвани как бешеный
метелице навстречь!

Я все-таки, товарищи,
жалею горожан:
Стоят машины сложные
у них по гаражам.

Там иглы, карбюраторы,
и черт их разберет!
А мы помашем палкою —
и движемся вперед.

Скорость, направление
и качество езды
Легко мы регулируем
при помощи узды.

Тяжелое чудовище,
пузатый автобу́с,

Он был бы здесь, в ущелиях,
обузой из обуз.

Скажи мне: он проехал бы
ну вот на этот стог?
Конечно, не проехал бы,
он сразу тут бы сдох!

А с поршнями и с кольцами
возился человек,
Он не смыкал над книгами
своих усталых век.

Он думал над машинами
десятки тысяч лет...
Таких, как мой игреневый,
еще покамест нет, —

С такой вот теплой кожею
и гривою коня,
С такой вот хитрой рожею,
глядящей на меня.

И вот он снова мчит меня,
нисколько не устав,
Опять мелькает в воздухе
скакательный сустав.

И всё уже не нужное
я стряхиваю с лет,
И вьюгою за санками
заравнивает след...



## ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

*Неоконченные стихи, заготовки*

* * *

Ты, ветер! Листву подо мной вороши
Свежее и апельсиннее.
И шорох хорош, и кусты хороши,
И небо синее-синее.

* * *

На рельсах поезд сердится,
Он хочет ехать
по лесу.
Свое он хочет сердце
Стране отдать
на пользу.

* * *

С коровами хочу вставать
С утра, не нежась,

Чтоб только почувствовать
Эту свежесть.

* * *

Ну, как тут не думать
     о девчонке,
Как коротать одинокие
     ночки,
Когда деревья распускают
     печенки
Или, как их правильно,
     почки?

* * *

Весна на Урале,
     раскаты тревожные.
. . . . . . . . . . . . . .

Цветущие ветки
     железнодорожные.
Поющие птицы
     из дюралюминия...

* * *

Хотя платок и был надушен,
Он оставался равнодушен.

* * *

В этом отделе
     стихи хромоногие
Расположены
     по хронологии.

* * *

И песни киргиза
Теперь выходят
в издании ГИЗа.

* * *

На гумне я
лежу на брюхе,
Не боюсь мокроты и росы,
Полосатые
в клеточку брюки
Вероломно сменив
на трусы.

* * *

Он этим штыком
напишет дату
Революции
пролетариата.

* * *

Ромашки перевянули,
Желтеют зеленя.
Избушки деревянные
Косятся на меня.

* * *

Вожу по театрам,
Дарю шоколад,
Но дело никак
не идет на лад.

* * *

Серый сад
трясуч и шаток,
Сучья стали
стареньки.
Тише, слышен шепот шапок
В крошечном кустарнике.

* * *

Это все же огромное чудо,
Даже в наш изумительный
век.
Как же так? Почему?
Откуда
Появляется вдруг
человек?

* * *

С надеждой
в сквере ждать любовь
или с любовью ждать
Надежду?

* * *

Как, кажется, ни
пичкали,
А выросли
спичками.

* * *

Говорил, вино лакая:
«Ненавижу кулака я!

Я его бы кулаком,
Только вызовут в райком».

* * *

Красная Пресня —
прекрасная песня.

* * *

И колючими, как хвоя,
Звездами обросшее,
Синее,
пороховое,
тревожное,
хорошее
Небо...

* * *

От кого это зависит,
Комсомольцы, отзовитесь!

* * *

Я власти Советов
хочу помогать,
Грудью идти на врага,
По первому знаку
возьму томагавк,
Надену противогаз.

* * *

Мы снова слышим бури
качанье,

Переливы ветра и флага.
Нас снова земля встречает
Тяжелой ночною влагой.

* * *

Нет, мы не даром
    на полном ходу
Несемся —
    шестая часть света!
. . . . . . . . . . . . .
Студенты!
    деритесь
        за чистоту
Состава
    новых Советов!

* * *

Люденыш крохотный и жалкий,
Как он беспомощен, как мил!
Как он глядит на этот яркий
И незнакомый ему мир!

* * *

На дворе,
    в избе,
        на улице
Крой,
    ходи,
        возись,
            спеши,
Чтобы каждый
    стук твой пульса
Был бы стуком
    в жизнь!

* * *

Большевистская
эта
вторая весна —
Я видел ее
на равнинах Урала.
Она мне трактором
в уши орала,
Она зачастую
лишала сна.

* * *

Так, роясь в наследии
черновиков,
Я видел в них строчки
грядущих веков.
В метафорах бился,
как в молниях, мозг,
Но сладиться с песней горячей
не мог.

* * *

Исчертит
кружками
рабочий класс
Пустыни
Российской карты.
Но для этого
нужен
опытный глаз,
Для этого
нужны
кадры!

* * *

Пускай тебя рекомендует пятилетка, —
Она партийка с пятилетним стажем.

* * *

Мою любовь
и мою грусть
Давно ты знаешь
наизусть...

* * *

Мне борьба поможет
быть поэтом,
Мне стихи помогут
быть борцом.

## ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СЕРГЕЯ ЧЕКМАРЕВА

Всему, даже нам с тобою
Придет черед умереть.
И только красивой песне
Дано без конца звенеть.

*Так писал Сергей Чекмарев незадолго до смерти. Его красивая песня оборвалась в самом начале жизни — более сорока лет тому назад. Но она с особой силой зазвучала в нашей поэзии, в сердцах наших современников, обретая вторую жизнь для себя и для ее автора.*

*Лишь через двадцать с лишним лет после смерти Сергея Чекмарева на страницах центральных журналов и газет, а затем в отдельной книге появилось никому до тех пор не известное имя Сергея Чекмарева. В советскую литературу пришел новый поэт. Так началась его вторая жизнь.*

*Ровесники Сергея Чекмарева теперь уже пожилые люди. Но он остался ровесником тем, кому сейчас лишь двадцать лет. Он остался вечным юношей не только потому, что не дожил до зрелых лет, но и потому, что все написанное им проникнуто юношеской чи-*

*стотой, весенней свежестью, никогда не стареющими чувствами.*

*Книга С. Чекмарева нашла горячий отклик в сердцах советских юношей и девушек. В своих письмах, выступлениях на читательских конференциях, на литературных вечерах они не только горячо приветствуют открытие нового имени, но и раскрывают свое отношение к его жизни и творчеству. Сергея Чекмарева полюбили! И те, кто нашел свое место в жизни. И те, кто его настойчиво ищет; и даже те, кто недоверчиво относится к необходимости такого поиска. Полюбили за искренность, отсутствие преднамеренности (ведь все писалось «для себя»), за чистоту души. А это дорого всем: и глубоким и поверхностным; и вдумчивым и легкомысленным.*

*Я пристально наблюдала за воздействием его стихов на тех молодых людей, которые в силу недоразумения или ошибки приучили себя скептически относиться к таким понятиям, как, например, верность, долг, честь. И они поверили Чекмареву. А это уже много! Это значит — поверить в возможность найти красоту и поэзию в повседневном будничном труде.*

*Многие читатели подчеркивают в своих письмах, что Чекмарев — это не история, пусть даже и недавняя. Его мысли и чувства, его отношение к жизни близки и созвучны всему тому, что волнует, тревожит, радует нас и сейчас.*

*Военнослужащий Николай Уткин писал: «До того мне понравилось все написанное им от строчки до строчки, что я готов еще и еще раз перечитывать. Хотя он писал это в годы коллективизации, в годы первой пятилетки, написанное им с полной силой звучит и в наши дни. Сейчас, как никогда, к месту пришлось стихотворение «Размышления на станции Карталы». Так все просто, ясно, столько патриотизма».*

*Советские юноши и девушки приобрели в Чекмареве*

*советчика, помощника в трудных обстоятельствах и верного друга. «Комсомолец Сергей Чекмарев стал для нас таким же дорогим и близким, как и Павка Корчагин. Он так же, как и герой романа Н. Островского, учит мужественно переносить трудности, находить счастье в любимой работе, видеть поэзию в самой обыкновенной «прозе», в наших повседневных буднях», — писали студенты Института механизации сельского хозяйства. Об этом же говорит и юноша из Краскова Московской области в своем стихотворении, посвященном Чекмареву.*

Книга закрыта,
    не могу отложить,
Душевных сил не хватает.
На таких вот книгах
    учишься жить,
И в жизни они помогают.

*Многих читателей знакомство с творчеством Сергея Чекмарева приводит к глубоким раздумьям. «Высокая душевная чистота, большой талант, открытое горячее сердце Сергея Чекмарева заставили нас серьезно подумать и о своей жизни, правильно ли мы живем», — пишут студенты филфака Киргизского университета.*

*Евгению Брошник из города Ухты привлекла в С. Чекмареве «поразительная скромность». «При этом, — отмечает она, — становится как-то стыдно за стремление иногда выдвинуть себя на особое место; стыдно за тех молодых людей, которые видят счастье в материальных излишествах, в бесконечных поисках развлечений. Я многое поняла благодаря Сергею, по-иному оценила жизнь».*

*Сергей Чекмарев стал не только близким другом современной молодежи. Его жизнь и творчество — источник мужества и оптимизма, пример для подражания. Эту особенность отмечает Владимир Незнанов из Куйбышевской области: «О Сергее Чекмареве я впервые*

*узнал со страниц «Комсомольской правды». И с тех пор этот человек стал близким и дорогим моим героем. В его стихотворениях и дневниках я находил ответы на многие волнующие меня вопросы. Я собирал все «Комсомольские правды» с сообщениями о Чекмареве. Однажды у нас произошел пожар. После, откопав книгу в пепле, в которой были газетные вырезки, я обнаружил их полуобгоревшими. И с тех пор бережно храню их у себя. В трудную минуту в его произведениях можно найти поддержку. Невольно хочется быть похожим на этого мужественного, благородного, полного любви к жизни, к людям человека. Так пусть же о нем узнает как можно больше людей!»*

*Авторы целого ряда писем отмечают, что многие мысли Сергея Чекмарева созвучны их мыслям, но они не сумели найти для них соответствующие слова. И, найдя их у Чекмарева, они испытывают от этого огромную радость, которую можно испытать, сделав для себя большое открытие.*

*«Сегодня прочел книгу стихов Сергея Чекмарева два раза подряд. Но мне хочется читать ее еще и еще. Она очень взволновала меня. Вы знаете, что именно взволновало меня? В этой книге воплощены почти все мои мысли и мечты. Я думаю о счастье, о цели жизни и о любви так же, как и Сергей. Но я не мог это выразить. Я тоже хочу приложить все свои силы на укрепление нашей Родины, на построение коммунизма.*

*Я люблю технику, и именно сельскохозяйственную, и буду работать в деревне. Ведь счастье человека зависит не от того, где человек работает — в городе или в деревне, — а от того, насколько он любит свое дело» — так написал Алик Тимофеев из Башкирии.*

*Некоторые читатели откровенно признаются в том, что раньше они не очень любили стихи, но знакомство с творчеством Чекмарева вызвало интерес к поэзии.*

*«Я люблю чтение, много читаю, но особого интереса*

*к поэзии я не испытывала. Конечно, мне приходилось читать стихи, но как-то они не запоминались, не оставались в памяти, да и их авторами я не особенно интересовалась. И вот совсем недавно знакомая девушка посоветовала мне прочесть стихи Сергея Чекмарева. И чем больше я читала, тем больше эти стихи нравились мне. Я перечитывала некоторые стихи по нескольку раз. Особенно мне понравилось «Размышления на станции Карталы». Все как-то очень просто, легко западают его слова в душу. Кажется, что слышишь голос самого поэта, видишь его перед собой» (Людмила Величко, студентка Армавирского техникума).*

*Глубоко трогает читателей любовь Сергея к Тоне.*

*«Меня очень взволновала история любви Сергея к Тоне и заставила серьезней задуматься о жизни. Меня восхищает его поистине глубокая и настоящая любовь. Вот с него-то и надо брать пример всей нашей молодежи. Как хочется узнать и о нем, и о его любви подробней!» Так пишет ученица 10-го класса Клава Яшина из Куйбышевской области. Сообщить о Сергее как можно больше и подробнее просит также студентка из города Советска Валентина Бушмелева. «Побольше было бы таких вот книг, которые создает сама жизнь. Такие книги так необходимы, они учат жить так, как призывал Чекмарев: «чтобы каждый стук твой пульса был бы стуком в жизнь».*

*Жизнь Сергея Чекмарева — источник вдохновения для начинающих поэтов. Они посвящают ему свои первые стихи. И пусть эти стихи еще во многом незрелые, но они идут от сердца. Они написаны из искреннего желания выразить собственные чувства. Свое стихотворение прислал А. Сивак из Одессы. Оно заканчивается следующими строками:*

Он жил, как боец, погиб, как солдат,
Борясь до последнего слова!

Сегодня в строю воюют, звучат
Живые стихи Чекмарева!

*Прочитав стихи Сергея Чекмарева, юноши и девушки испытывают желание поделиться своими мыслями, рассказать о том, как и чем они живут. Некоторые письма — это маленькие повести из жизни наших юных современников.*

*«Я учусь в десятом классе, — пишет Неля Урманова из Коканда. — Мне исполнилось недавно семнадцать лет. Через год я окончу школу и буду поступать в медицинский институт. Очень хочу стать врачом.*

*Сегодня у нас закончилась практика. Практикуемся мы на заводе «Большевик», где работаем на токарных станках. Скоро будем сдавать экзамены на разряд.*

*На заводе я познакомилась с очень интересными людьми. Это и взрослые мастера, и ребята из профессионально-технического училища, которые тоже проходят здесь практику. Двое из них (с ними я больше всего подружилась), Витя и Володя, помогли мне освоить токарный полуавтомат. Работали мы и на других токарных станках, нам помогали наши старшие товарищи. Две недели практики на заводе пролетели незаметно. И сегодня, в последний день, мне было жалко оставлять своих новых хороших друзей.*

*Я немного напишу и о ребятах нашего двора. Нас много. По вечерам мы собираемся вместе, чтобы обсудить последние новости, играем в волейбол, бадминтон на площадке, которую мы сами оборудовали.*

*В последнее время мы все чаще и чаще возвращаемся к вопросам: «Кем быть? Каким быть?» Спорим, доказываем свою правоту, а потом читаем вслух стихи...»*

*Интересное письмо прислал комсомолец Геннадий Бобылев. Видно по всему, что для Геннадия это не случайное увлечение очередной интересной книгой, — Чекмарев глубоко вошел в его жизнь.*

*«Года три назад в один из свободных вечеров, которых бывает так мало в экзаменационные периоды, я пошел отдохнуть в парк культуры и отдыха. Проходя мимо летней эстрады, я услышал стихи. Причем это были какие-то новые стихи, которых я раньше никогда не слышал. Да и чтец читал их с таким воодушевлением, что я даже подумал, уж не его ли это творчество. Я остановился и сразу же забыл обо всем окружающем. В стихах звучала любовь к Родине, любовь к труду. Были и лирические, чуть-чуть грустные стихи о любимой девушке Тоне. Это были стихи Сергея Чекмарева.*

*Вот недавно от моего друга из Челябинска пришла бандероль. Как я был рад, когда обнаружил в ней стихи Сергея Чекмарева. Это было двадцать третьего февраля, был праздник наших Вооруженных Сил, а для меня это праздник оказался вдвойне. Как хочется быть во всем похожим на Сергея, быть всегда там, где ты больше всего нужен, где ты больше всего можешь принести пользы. И чтобы не искать легкой дороги (а у нас есть еще такие искатели), и чтобы найти свое призвание и счастье, как нашел его в труде Сергей Чекмарев, и чтобы отдавать все свои силы людям».*

*Творчество Чекмарева оценила не только молодежь. Оно оказалось очень дорогим и близким и зрелым людям, с определившимися взглядами, с устоявшимися интересами.*

*Большое место среди этих отзывов занимают письма лекторов, пропагандистов, партийных работников, старых большевиков.*

*«Такая молодежь, как Сергей Чекмарев, — гордость нашей партии, нашей страны. О таких людях надо говорить, чтобы все знали, какая замечательная смена нашему поколению выросла. Он погиб таким молодым! Сколько он мог создать прекрасного!» — пишет член КПСС с 1914 года, персональный пенсионер М. В. Ильина.*

*«Очень внимательно, с чувством большого волнения я прочитал этот бессмертный человеческий документ — книгу стихов и писем Сергея Чекмарева, это — завещание и наставление для нашей современной молодежи и для будущих поколений» — так пишет Л. И. Дракин, старый большевик, персональный пенсионер.*

*Много писем пришло от преподавателей истории и литературы. Учительница М. Юркина отмечает:*

*«Как много потеряла я как учительница и как воспитатель от того, что не знала книги Чекмарева раньше. Мои уроки приобрели значительно больший интерес после того, как я познакомилась сама с его творчеством и познакомила с ним своих учеников».*

*Отзывы рядовых читателей на книгу Сергея Чекмарева целиком совпали с оценкой профессиональных критиков, поэтов, писателей. Поэтом, каких у нас немного, но какие нам нужны до зарезу, называл Сергея Чекмарева Константин Федин. «Какой прекрасный парень! Какая чистая жизнь!» — писал в свое время о Чекмареве Борис Агапов.*

*Большой друг советской литературы, английский писатель Джеймс Олдридж прислал в Советский Союз письмо, в котором благодарит нашу печать за открытие имени Сергея Чекмарева. Олдридж выражает надежду, что книга Чекмарева когда-нибудь будет переведена на английский язык.*

*Интерес к жизни Сергея Чекмарева проявился в самых разнообразных формах и в значительной степени обогатил духовную жизнь школьников, студентов техникумов и вузов.*

*Имя Сергея Чекмарева присвоено молодежным клубам, библиотекам, пионерским отрядам. Комсомольские организации Челябинска, Орджоникидзе, Йошкар-Олы и других городов, соревнуясь за право носить его имя, проводят интересную работу в школах, техникумах, на предприятиях. Популяризируя жизнь и творчество Чек-*

*марева, они организуют вечера поэзии, литературные беседы, чтение его стихов и писем, выпускают посвященные ему стенные газеты, литературные бюллетени.*

*В Красноярском крае в небольшом районном городе группа десятиклассников во главе с молодым рабочим, увлекающимся поэзией, организовала литературный кружок имени Чекмарева. Члены кружка выучили наизусть его стихи, его высказывания о счастье, о смысле жизни, о любви и выступили перед рабочими и колхозниками своего района. Эту инициативу всячески одобрила и поддержала «Красноярская правда».*

*Ежегодно во время летних каникул пионеры и комсомольцы Башкирии организуют коллективные походы по местам, где жил и работал Сергей Чекмарев. Об одном из этих походов написали мне выпускники школы № 24 города Ишимбая.*

*«Вначале мы посетили районный центр — село Исянгулово — и возложили цветы к памятнику поэта. Здесь у памятника был организован «час поэзии» для молодежи села. Побывали в селе Ибряево, беседовали со старожилами, работавшими в совхозе «Иняк» в начале тридцатых годов, нашли домик, в котором снимал комнату Чекмарев. В молчании стояли мы у переезда через реку Большая Сурень. В этом месте было найдено тело Сергея Ивановича. В этом походе мы собрали очень интересный материал — фотографии, рисунки, записи бесед. Наш материал экспонировался на республиканской выставке краеведения и был отмечен дипломом. Выступая на республиканской комсомольской конференции, мы внесли предложение — установить мемориальную доску на доме, где жил Сергей Иванович Чекмарев».*

*По инициативе комсомольцев Башкирии у переезда через реку Большая Сурень поставлен обелиск, а на площади села Исянгулово воздвигнут памятник поэту-*

*комсомольцу. На высоком постаменте возвышается бронзовый бюст молодого человека с высоким умным лбом, с устремленными вдаль глазами.*

*Но лучшим памятником для всех грядущих поколений является творчество Сергея Чекмарева, протянувшее к нам сквозь годы свой чистый немеркнущий свет.*

* * *

*В Москве, в конференц-зале ЦК ВЛКСМ происходило торжественное вручение премий Ленинского комсомола. Лауреатов тепло поздравляли, желали им дальнейших творческих успехов. Лишь один лауреат не присутствовал на торжестве. Этим лауреатом был комсомолец Сергей Чекмарев. Премия ему была присуждена посмертно.*

*Возвышающим примером своей жизни, своим творчеством он помогает воспитывать молодежь стойкой, мужественной, благородной, не боящейся никаких трудностей.*

*Быть таким, каким был Сергей Чекмарев, — это значит любить жизнь со всеми ее добрыми и подчас суровыми сторонами, это значит любить свою Родину, любить людей и во имя этой светлой негасимой любви отважно бороться за свершение того, за что боролся и отдал свою жизнь воспитанный Ленинским комсомолом замечательный советский юноша поэт Сергей Чекмарев.*

*С. ИЛЬИЧЕВА*

## СОДЕРЖАНИЕ



ИБ № 1472

**Сергей Иванович Чекмарев**

БЫЛА ВЕСНА...

Редактор **М. Демина**
Художник **Д. Шимилис**
Художественный редактор **К. Фадин**
Технический редактор **Н. Чеснокова**
Корректор **З. Харитонова**

Сдано в набор 8/II 1978 г. Подписано к печати 19/IV 1978 г. А05605. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л. 8,5 (усл. 11,9). Уч.-изд. л. 11,7. Тираж 200 000 экз. Цена 45 коп. Т. П. 1978 г., № 222. Заказ 194.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

45 коп.




ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ НА ЗЕМЛЕ — ОТ СОЛНЦА,
И ВСЕ ХОРОШЕЕ — ОТ ЧЕЛОВЕКА.

**М. М. Пришвин**

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

БЫЛА ВЕСНА... СЕРГЕЙ ЧЕКМАРЕВ